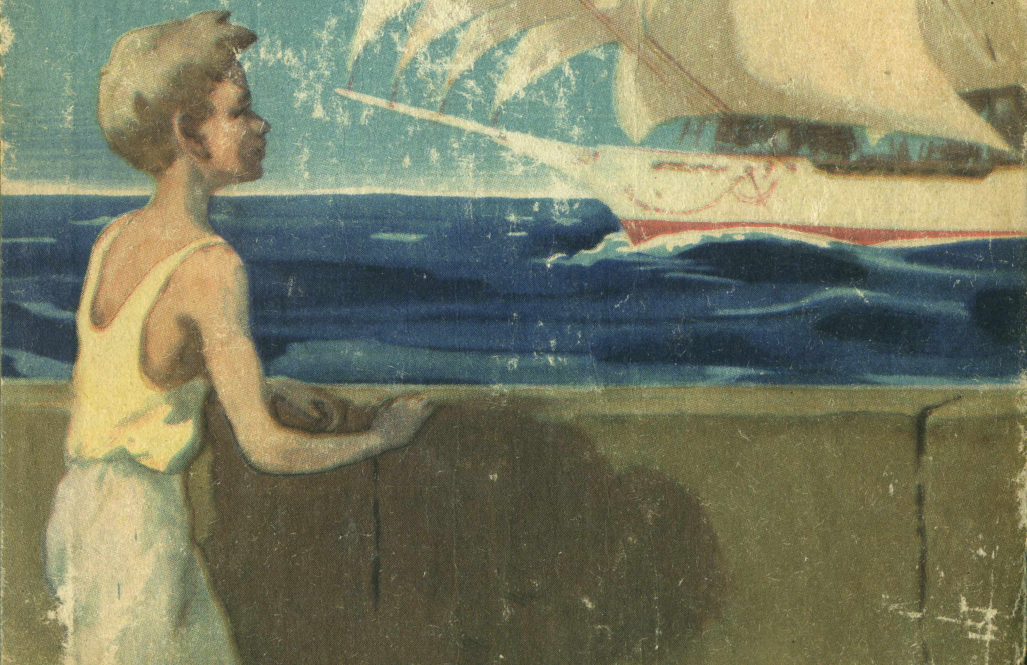
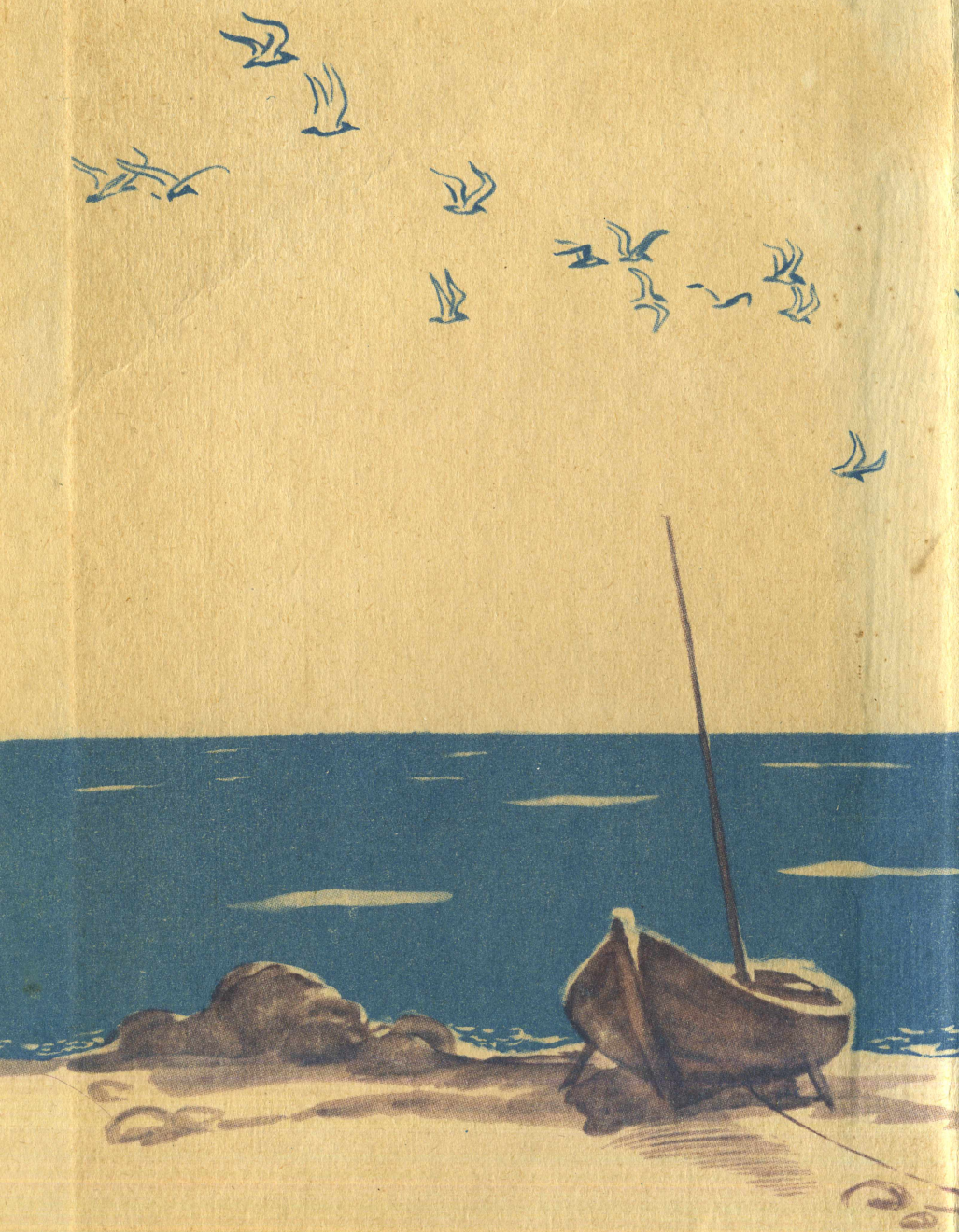


25
А. Батров

БАРК «ЖЕМЧУЖНЫЙ»

Детиз



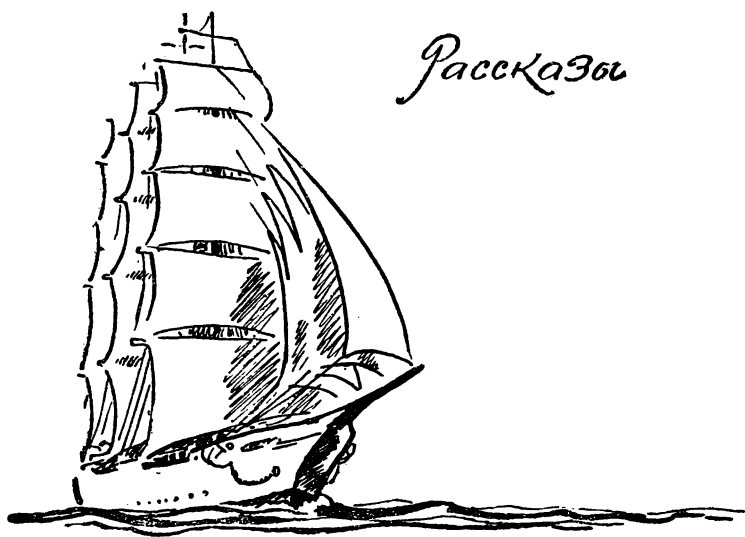




А. Батров

БАРК «ЖЕМЧУЖНЫЙ»

Рассказы



Государственное Издательство
Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Москва. 1963

Герои этой книги очень любят свой город, гавань, море, корабли; затаив дыхание слушают рассказы матросов и рыбаков, завидуют их подвигам и ждут не дождутся, когда станут взрослыми...

А между тем они и сейчас совершают немало благородных дел. И маленький больной Степик, который заботится о молодом деревце. И Белоснежка, спасающая подруг во время шторма. И Тюлька, которая мечтает о том, чтобы победить сероводород, который губит живое море.

И, как всякие ребята, они похожи друг на друга и в то же время разные. Но всех их роднит любовь к морю, к труду, к солнцу...

Просим отзывы об этой книге направлять по адресу: Москва, А-47, ул. Горького, 43. Дом детской книги.

Рисунки К. Безбородова



БАРК „ЖЕМЧУЖНЫЙ“

I

Глеб лежал на теплом песке и, странное дело, весь дрожал, будто неожиданно пришла глубокая осень.

— Эй, мальчик, что с тобой? — подойдя к нему, спросил один из пляжников, старик в соломенной шляпе.

— Ничего, — ответил Глеб. Он даже на время сдержал дрожь, чтобы старик оставил его в покое.

Но тот не уходил.

— И губы вот синие, — сказал он, качая головой.

— Синие так синие! — буркнул Глеб и сделал сердитое лицо. Не станет же он объяснять каждому, что слишком долго пробыл в воде. Правда, из-за этого грубить не годится...

— Не беспокойтесь, — сказал Глеб.

Но старика уже не было.

Погода менялась. С востока пришел ветер, и море покрылось рябью. Даль, еще недавно веселая и голубая, потемнела. Серые тучи накрыли небо, запахло дождем, и вскоре он и сам зашумел над песчаной косой.

Купальщики бросились кто куда: одни — к трамваю, другие — к автобусной остановке. На Глеба никто не обратил внимания. Лежит мальчик на берегу, ну и пусть лежит. Видно, нравится быть наедине с морем, слушать, как всплескивает волна, и глядеть на чаек, громко славящих непогоду, — кто знает, не пригонит ли она к берегу косяк жирной сардели?

А Глеб подумал: пора домой. Он оделся, сделал несколько шагов, но тут же упал. Его начало мутить. Судорога свела пальцы правой ноги, а синие губы стали еще синее. Перед глазами Глеба запорхали пестрые огоньки.

Когда он пришел в себя, ни моря, ни чаек перед ним уже не было. Он лежал на диване в незнакомой квартире. По комнате, светлой и просторной, шаркая ногами, ходил старик, тот самый, что заметил на берегу его посиневшие губы.

— Где я? — спросил Глеб.

— Не беспокойся, — ответил старик. — Сейчас вскипит кофе...

От кофе Глеб не отказался. Он выпил и почувствовал себя лучше.

— Зовут меня Глеб Попов, — сообщил он старику. — А вы кто такой?

— Я дед Василий. Вот и познакомились.

Старик вытащил из кармана серебряные часы, открыл крышку и, заторопившись, сказал:

— Ты оставайся. Ключ положишь под ступеньку, на лестнице. И приходи. А мне на вахту...

— На вахту?

Глеб соскочил с дивана. Но, может быть, он услышался? Нет, не услышался. Он давно мечтал познакомиться с моряком, и вот его мечта сбылась. Он даже запел от радости. Конечно, он придет к нему. Даже завтра. Глеб выбежал на лестницу и крикнул деду Василию:

— А как называется ваш корабль?

Старик, замедлив шаги, внимательно посмотрел на Глеба и сказал:

— «Жемчужный».

— «Жемчужный»? Парусный!

— Он, — повторил дед Василий, сдержанно улыбаясь.

Оставшись один, Глеб подошел к огромному крабу, висевшему на стене.

Сразу видно, что здесь живет моряк дальнего плавания. Об этом говорили и перламутровые раковины, расставленные на столе, и цветочная ваза в виде рыбьей головы, и модель старинного парусника.

Дома Глеб объявил родным, что у него есть друг, и не простой, а моряк с океанского трехмачтового барка «Жемчужный».

К деду Василию он пришел на другой день, в восемь часов утра.

— Ого, какой гость ранний! — удивился старик. —

Ну ничего, одно дело есть. Как ты насчет скумбрии, хлопец?

— Всегда готов! — отозвался Глеб весело.

Они вышли на лодке к Лузановской косе. Но скумбрию в этот день словно заколдовали. Все же им удалось выдернуть из скупой воды десяток небольших чирусов. Из них они сварили уху с чесноком и молодой картошкой.

Вскоре все ребята дома, в котором жил Глеб, знали о деде Василии.

— Мой старик прошел все океаны! — слышался во дворе голос Глеба.

Он выдумывал о барке «Жемчужный» разные удивительные истории, и, странное дело, ребята верили ему и даже добавляли что-нибудь от себя: мол, «Жемчужный» надежней любого лайнера. В век дизельных судов они с особой нежностью отдавали последним парусам свои мальчишеские сердца.

— «Жемчужный»! Он выдержит любой шторм в океане! — волнуясь, говорил Глеб. — Мой старик ходил на нем в Индию прошлой весной!

II

Но дед Василий не имел никакого отношения к морю. Он целых тридцать лет прослужил официантом в ресторане «Весна», носившем когда-то название «Жемчужный». А сейчас в гавани под таким же названием стояло учебное судно — океанский барк с ослепительно белыми парусами.

Зачем же он обманул Глеба?

Какой он, дед Василий, моряк? Правда, будучи молодым, он служил кочегаром на пароходе «Русь», а затем три года рыбачил с херсонскими рыбаками.

«Весна» находилась на оживленной улице, почти в самом центре города. Сегодня с утра до самого вечера стояла жара, работать было трудно, и дед Василий, сдав «вахту», решил отдохнуть на Приморском бульваре.

Над городом плыли прозрачные облака, и молодой месяц в них весело кувыркался. На бульваре дед Василий увидел Глеба. Мальчик сидел на садовой скамье и влюбленно глядел на барк, стоящий на внешнем рейде. Зарифленные паруса барка были неподвижны и белы, словно вырезанные из кости.

— Глеб, что ты здесь делаешь?

— Я?.. Ах, это вы!.. Я на ваш «Жемчужный» смотрю. Я знаю, вы только что оттуда... Я видел, как от борта отвалила шлюпка...

Улыбнувшись, дед Василий перевел разговор на другую тему.

— Скумбрия пошла... Все сейнеры вышли в море на лов. Завтра жаркий денек будет на море, — сказал он Глебу.

Но старик ошибся.

Море на другой день штормило. Он сидел дома и учил Глеба делать резцом рисунки на металле.

К мальчику старик все больше привязывался. Он словно видел в нем свою юность. Вот таким же мальчишкой он бродил в гавани. Так же тревожно и дерзко глядел в морскую даль.

А Глеб не забыл о барке. Он даже требовательно напомнил:

— Вы должны взять меня с собой, дед Василий!

— Ремонт... По морскому закону на судне посторонним быть не разрешается, — отвечал дед Василий, не зная, как выпутаться из этой истории. — Не спеши, — успокаивал он Глеба, — Вот сменят такелаж... Поставят новые паруса...

III

Порой здоровье подводило старика. Ноги, охваченные зудящей глухой болью, становились чужими. Но к врачам он не ходил. Ему было как-то стыдно в свои шестьдесят лет ходить лечиться. К тому же никакие профессора не в силах остановить время. Да, ноги... Вот сегодня, споткнувшись, он выронил поднос с тарелками, и директор ресторана, проходивший мимо, сказал:

— Пора на пенсию... Со старостью не шути, дед Василий!

Но старик лишь выпил стакан пива, махнул рукой и продолжал обслуживать посетителей.

В это самое время Глеб, окруженный ребятами, стоял посреди двора.

— Все выдумал про своего старика! — кричала Динка, толстая розовощекая девочка. — Твой старик — официант в «Весне». Мы там обедали с мамой!

Лучшие друзья Глеба, братья Соколовы, Генка и Васька, как по команде сунули пальцы в рот и насмешливо засвистели.

Глеб стоял ошеломленный.

— Неправда... Идемте на «Жемчужный»... Я докажу... Доберемся на шлюпке...

— Давай, — согласились братья.

Но барк «Жемчужный» исчез, ушел в жаркие океанские дали, и только чайки, которые кружились над гаванью, напоминали белизну его парусов...

Синие глаза Глеба потемнели.

Неужели старик и вправду официант ресторана? Чтобы в этом удостовериться, Глеб бегом бросился к «Весне». Ему хотелось, чтобы все оказалось ложью. Может быть, толстуха Динка ошиблась? Ведь бывают люди, похожие друг на друга, как близнецы... Но

все оказалось правдой. Он увидел своего старика в ресторане. Тот, привычно обходя столы, нес бутылку шампанского в ведерке. Глеб вспомнил презрительный свист братьев Соколовых, и сердце мальчика сжалось от ненависти.

— Как вы смели меня обмануть?.. Вы не моряк... Вы... — произнес мальчик бледнея.

Дед Василий поставил шампанское на стол перед молодыми людьми, а затем, обернувшись к Глебу, сказал:

— Поговорим на улице... А здесь хулиганить не полагается.

Он почти силой вывел Глеба из ресторана.

— Нет, нет, не имели вы права обманывать! — закричал Глеб на улице.

— Извини, — смущенно проговорил дед Василий. — Ладно... Ну, не моряк... Официант я...

— Я никогда в жизни не стал бы дружить с официантом. Они все мошенники, берут чаевые... И на вас жалко смотреть: бежите, а ноги расползаются, как на мокром стекле...

Дед Василий досадливо усмехнулся:

— Насчет ног не твоя обо мне забота... А за то, что обманул, извини. Без зла я... Хотел тебе угодить. Я сам, когда был мальчишкой, любил дружить с моряками. А чаевые берет не всякий...

— Все равно обманщик! — продолжал Глеб со злостью. — Все люди как люди. Строят дома... Делают разные вещи...

Старик долго молчал. Может быть, и прав мальчишка. Он, дед Василий, ничего не оставит после себя. Ни дома. Ни дерева. Ни башмаков на резвых ногах ребенка. Ни рубахи на плечах юноши. Ни колося в поле...

— Хватит болтать, лучше нам разойтись, — нако-

нец тихо произнес дед Василий. Он вынул из кармана часы. Вид у него был такой, словно он хотел преподнести их Глебу, но, по-видимому, передумал и положил назад в карман.

— Больше ко мне не приходи, — сказал он.

— И не приду. Подумаешь, какое счастье потерял!

Глеб ушел возмущенный. А дед Василий вернулся в ресторан. Убирая столы, он думал о своей профессии. Он работал честно. Никто не может на него пожаловаться. А тут Глеб... Жаль, что он, дед Василий, так нечаянно посмеялся над мечтой мальчика.

IV

Скоро осень. Она войдет в раскрытые окна домов, и стены комнат запахнут влажной морской солью. А ветер? Он, как скряга, начнет перебирать дрожащими пальцами первое золото листвы. И начнут свой перелет птицы...

Но осень не торопилась. Глеб вместе с дворовым пионерским отрядом помогал колхозникам убирать виноград на берегах Днестровского лимана. После работы братья Соколовы ловили в лимане раков, а девочки их варили в жестяном ведре. Жили в палатках, полных ветра. Отдыхали возле костра. Порой братья Соколовы вспоминали барк «Жемчужный» и весело смеялись. Смеялся и Глеб. А на сердце у него было тоскливо.

Когда отряд возвратился в город, Глеб получил письмо. Оно было из больницы от деда Василия. Он предлагал Глебу помириться. Но Глеб разорвал письмо.

Старик вот уже целую неделю лежал в больнице,

на койке возле окна. От синего предосеннего неба веяло тишиной. Дни были на славу, один лучше другого. Но чем выше становились серебристые облака, чем оранжевей над городом разливались зори, тем больше дед Василий томился вынужденным бездельем. Он не спал. Сидел возле окна и глядел на притихший город. Потом ходил по палате, всматривался в лица спящих больных, поправлял их постель, а тем, кто не спал, приносил чай.

Деда Василия тянуло домой. После сердечного припадка, который случился с ним на улице, он чувствовал себя хорошо. Сердце билось ровно, без перебоев, и только порой тяжелели ноги.

Несмотря на протесты врачей, дед Василий выпи­сался из больницы. Ему надо было бы отдохнуть еще неделю-другую, но он в тот же день пришел в ресторан и приступил к обычной работе. Все шло хорошо, дед Василий шутил, от всего сердца радовался приходу знакомых и даже выпил стакан вина.

А к вечеру у него стала кружиться голова. Все плыло перед глазами словно в тумане. Но людей он видел. Вот за столом слева спорит с кем-то бывший диспетчер порта Орленко, летописец всех судовых аварий. А дальше, возле оркестра, сидит крановщица угольной гавани Мая Фомина, девушка с каштановой челкой. Этой весной она, рискуя собственной жизнью, спасла тонущего в море мальчика...

И сейчас, проходя мимо, дед Василий ласково улыбнулся ей. Он продолжал работать и работал, как всегда, быстро, уверенно, никого не заставляя ждать лишнее время.

В одиннадцатом часу ночи дед Василий вдруг остановился посреди зала с подносом, на котором стоял кофейник. Было похоже, что старик заблудился... Он сделал вид, что слушает музыку, а сам мучи-

тельно напрягал память. Он забыл, кто заказал ему кофе. Забыл впервые в жизни. Он вытер похолодевшее влажное лицо салфеткой, шагнул и медленно опустился на пол с подносом в руках, так и не вспомнив заказчика кофе...

V

В день похорон с утра моросил дождь, но в полдень из-за туч выглянуло солнце. Гроб несли четверо сыновей старика, прилетевшие из четырех больших городов страны, все рослые, широкогрудые люди.

Глеб шел за похоронной процессией и сжимал в руке серебряные часы, подарок деда, которые ему вручил бывший диспетчер порта Орленко.

Звучала нежная, печальная мелодия. А вокруг был океан золотого света, живой, безбрежный. Глеб вспомнил, как он разорвал письмо старика, и с виноватым видом сунул часы в карман рубашки.

Кладбище, все в зелени, охваченное тишиной. Могила. Горсти земли. И холм, покрытый цветами...

Глеб словно издалека слышал прощальные слова:

— ...Василий... Ты всю жизнь служил людям... А служение людям, как свет солнца...

— Как свет... — повторил мальчик и, покидая кладбище, понял, что люди, которых обслуживал дед Василий, ведут корабли, посылают ракеты в космос и строят жизнь на земле. Он всем помогал трудиться. Поэтому так добры и печальны лица людей.

Возвращаясь в город, он позабыл о часах Василия. И неожиданно, уже у ворот своего дома, он услышал их гулкое, отчетливое биение. Глеб остановился. Открыл крышку часов и чуть было не вскрикнул от радости: на внутренней стороне крышки рукой деда был выгравирован парусник — барк «Жемчужный».



СЕРОВОДОРОД И ТЮЛЬКА

Тюлька, синеглазая девочка с двумя смешными косичками — одной как бублик, а другой как рог козленка, — тоскливо бредет вдоль рыбацкого причала. Над ней проносятся веселые облака, кружатся веселые чайки, и солнце льет на нее свой веселый свет, но сама девочка никак не может развеселиться. Она молча глядит на море.

А море как море. То голубое. То серо-зеленое. То вдруг совсем золотое. Но Тюлька видит другое... Там, за самой синей далекой далью, в морских глубинах, раскинулось царство сероводорода... Он губит все живое. И краба, и бычка, и пеструху, и мидию цвета школьных чернил, и даже морского конька...

Об этом отвратительном газе рассказала учительница Алла Федоровна. С тех пор Тюлька потеряла покой.

— Эй, Тюлька, о чем печаль?

Высокий рыбак в соломенной феске přátельски подмигивает девочке. Тюлька горько вздыхает.

— Дядя Виктор, — говорит она, — нет житья нашей рыбе, большой и малой, из-за вредного газа... Сероводород называется...

— Есть, есть такой жулик, — соглашается рыбак, но при этом не проявляет никакой тревоги. На его лице абсолютный покой, а в глазах светится лукавое бронзовое сияние.

— «Есть, есть»... — сердито передразнивает его Тюлька. — А что же люди думают?

— А что людям думать? От дум лоб потеет, Тюлечка.

В другой раз Тюлька посмеялась бы незадачливой рыбацкой шутке, но сейчас она досадливо отворачивается от шутника.

Она подходит к старику Алексею, который сидит на пороге лабаза и курит крепкий аджарский табак из самодельной трубки. У него суровое лицо, все в шрамах, — это штормовая ночная волна однажды сбросила рыбака за борт фелюги и пронесла через скалы. Он бесстрашный рыбак, любит море и всех его жителей. Он разделит тревогу Тюльки.

Но странное дело: дед Алексей так же, как и дядя Виктор, ни капли не огорчается.

Тюлька еще больше хмурится. Нет, никто не хочет думать о море, а сами тащат из него рыбу и днем и ночью... А над ней лишь посмеиваются: мол, помешалась Тюлька.

И чайки, пролетая над ней, смеются:

«Так... Так...»

«Помешалась...» — смеется и ветер.

И лишь одно море не смеется. Оно ласково плещет на девочку теплой волной, моет ее смуглые ноги и благодарно шумит: «Спасибо!»

Тюлька плохо спит. Ей снится сероводород... Он приходит к ней в образе огромного черного старика с руками, как щупальца осьминога. Он головастый, крючконосый, усатый. От него в страхе разбегается все живое. Блекнут оранжевые водоросли. Темнеет вода. В ужасе мечутся скумбрийные стаи. А Тюлька, превратившись в меч-рыбу, бьется с ним насмерть до самой зари...

Просыпается Тюлька печальной. Ни в одном море, ни в одном океане нет такого огромного количества сероводорода, как здесь, в родных водах. С ним надо бороться. Объявить войну. Но все по-прежнему смеются над девочкой. И даже Тюлькин отец, штурман рыболовецкого сейнера «Нина», улыбается:

— Ты, дочка, не беспокойся. Советские ученые когда-нибудь найдут способ вылечить наше море.

Улыбка отца не нравится Тюльке. Она гневно топает ногой.

— Алла Федоровна сказала, что мертвая зона в нашем море в несколько раз больше живой!

— Ну и больше... Только не злись, я этого не люблю! — повышает голос отец. — Не дури, Тюлька.

Тюлька? Нет, она не Тюлька! Ее зовут Юлькой. А Тюлькой ее прозвал сам отец. Да ладно, пусть, она не обижается...

— Поговорю с вашей пионерской организацией, — заявляет отец, — пусть дадут тебе важное пионерское поручение, вот тогда и выбросишь из своей головы черного старика...

— Нет, не выброшу, чтобы он света белого не видел! Пусть треснет, как тот пузырь поросячий!..

Вот так точно ругается Тюлькина бабка, Ксения, и отец, не в силах удержаться от смеха, говорит:

— Не надо нам ссориться, лучше взгляни на море — увидишь, какое оно живое!

Тюлька глядит на море. Оно и вправду живое, веселое, молодое. На лице девочки играет свет солнца. Свет неба. Свет летней волны.

Штурман сейнера «Нина» кладет руку на плечо дочки:

— Скажи своей Алле Федоровне, что рыбы еще всем хватит и хватит!

— А все же кому-нибудь не хватит!

Тюлька неодобрительно косится на отца. Ему-то что? Не к нему каждую ночь приходит черный старик с руками, как щупальца осьминога. Она теребит свои косы — и ту, что похожа на бублик, и другую, что торчит словно рог козленка, — и говорит:

— Когда вырасту, сама стану ученой...

Тогда уже не во сне, а наяву она схватится с черным стариком. Она победит. Ее море до самых краев наполнится серебряной крупной рыбой. Всем хватит на тысячи и тысячи лет, никто не будет в обиде. Вернется космонавт с Марса и вволю натешится черноморской янтарной юшкой. Попробуют ее гости с другой планеты и потребуют по второй тарелке...

Узнает ли грядущее человечество, как заботилась о нем маленькая синеглазая девочка Тюлька?



ЧИРО

В Катании мы брали груз — залежавшиеся на складах кипы александрийского хлопка для Палермо. Оттуда наша «Березань» должна была направиться в Грецию.

За день до выхода в море к нам на палубу поднялась синьора Клементина, хозяйка пивного бара,

который находился здесь же, в гавани. Пиво Клементины даже в самые жаркие дни было прохладное. Сама хозяйка оказалась женщиной общительной и веселой. Не прошло и недели, как мы подружились с ней.

Но порой, надо признаться, добрая женщина изводила нас непрерывными просьбами: то ей нужно немного русского леса, то несколько пачек одесских папирос, то банку краски... Конечно, не даром... Но денег мы никогда не брали, и это, пожалуй, нравилось почтенной синьоре.

На этот раз она обратилась к нашему боцману Саломaxe, старику с косматой бородой:

— Вы идете в Грецию, в Пирей, а там живет моя племянница Джинетта. У Джинетты есть маленькая дочка... Мне бы хотелось передать для них белого козленка...

Боцман насмешливо поглядел на Клементину и спросил:

— Белого козленка?.. Он живой, синьора?

— Ну да, живой, с рожками и копытцами.

Боцман Саломаха задумался, дернул себя за бороду, а затем кивнул в знак согласия головой:

— Ладно, давайте вашего козленка.

— О, спасибо! Надеюсь, он будет целый и невредимый.

— Да, синьора.

— И глядите, чтобы он не выпрыгнул за борт в море.

— Не беспокойтесь.

— И не вздумайте поить его вином, — я знаю, моряки такие баловники...

С этими словами синьора Клементина сошла на берег и минут через десять снова поднялась на «Безань», держа на руках козленка.

Он был удивительно белый. Даже мантия снежного короля не могла быть белее.

— Его зовут Чиро, — сообщила тетушка Клементина.

Но белому козленку не суждено было совершить путешествие в Пирей.

Дело в том, что рядом с нами, бок о бок, стояла рыбацья шхуна «Кремона». Поварихой на ней была девочка лет четырнадцати, Сильвия, — неуклюжий, нескладный подросток в какой-то странной черной юбке.

Команда потешалась над девочкой. Моряков смешил ее крестьянский выговор, ее боязнь моря, ее всегда широко открытые, удивленные глаза. Морской мир, гудящий ветрами, страшил душу крестьянской девочки.

В этот день хозяин судна ее жестоко избил, избил за то, что она сожгла яичницу из десяти яиц, на которую он пригласил какого-то важного родственника.

Вся в синяках, она бродила по судну, прикладывая к лицу мокрую косынку. Потом она долго сидела на баке, маленькая, безмолвная, одинокая. И вдруг лицо девочки оживилось. Она услышала на «Березани» блеяние Чиро, прыгавшего на веревке вокруг мачты.

Теперь, когда бы я ни смотрел на «Кремону», я видел бледное лицо девочки. Скребла ли она посуду, чистила ли сардины, она то и дело высовывала голову из дверей маленького камбуза и глядела на козленка.

Мне стало жалко ее. Я подошел поближе к ней и крикнул:

— Хочешь погладить, синьорита?

Ее лицо вспыхнуло. Глаза загорелись, и она даже стала красивой. Забыв поставить на огонь кастрюлю

с рыбной похлебкой, Сильвия мигом очутилась на нашей палубе.

Она крепко прижала Чиро к груди.

По-видимому, он напомнил девочке ее родной край, поля, сады, виноградники и зеленые пастбища в жаркий день...

А ночью случилось следующее. Я стоял на вахте. Моряки, уставшие за день, крепко спали. И лишь два полуночника, боцман Саломаха и кок Афанасий, сидели возле меня у трапа.

Неожиданно перед нами мелькнула какая-то тень. Сильвия? Это была она. Девочка подошла к мачте, стала на колени и припала лицом к спящему козленку.

Плечи ее вздрагивали.

— Плачет, — вздохнув, сказал боцман Саломаха.

— Делится своим горем с козленком... Видать, не сладко живется, — тихо проговорил кок.

А Сильвия взяла на руки козленка. Несколько раз поцеловала в маленькую бодливую мордочку. Слезы, бегущие по лицу девочки, в свете звезд были как жемчужные. Затем, вздохнув, она повернула лицо в нашу сторону, увидела нас и робко, умоляюще прижала руки к сердцу.

Мы поняли Сильвию.

— А как же быть с Джинеттой? — спросил я.

Кок Афанасий, погрозив мне пальцем, нахмурился.

А Сильвия, внимательно глядя на нас, освободила Чиро от веревки. Не выпуская из рук козленка, она поднялась и направилась к своему судну. Шаг. Еще шаг. И вот она уже на «Кремоне»...

Я чувствовал себя неловко. Один-единственный окрик, и она бы вернулась. Но кок, улыбнувшись, поглядел на боцмана Саломаху. С такой же улыбкой

боцман Саломаха посмотрел на меня, и мы, все трое, не произнесли ни слова...

В Пирее нас встретила племянница Клементины, Джинетта, молодая красивая женщина. Ей мы торжественно вручили козленка... черного, как крыло ворона. Белого мы никак не могли раздобыть в Палермо.

— А тетушка ведь писала мне, что Чиро весь белый... Ах, старая шутница! — смеясь, произнесла Джинетта.

Пришел ее муж, грек, виноградарь из окрестностей Пирея, и, увидев черного козленка, стал тоже смеяться.

Что же, смеялись и мы, да простит нас почтенная синьора Клементина!



КОТ БЕРЕНДЕЙ

Фимке Денисову с голубями не посчастливилось. Рыжий кот Берендей выкрал у него египетскую голубку, а голубь, не выдержав одиночества, улетел в неизвестном направлении.

Пропал и кот Берендей.

А на другой день во дворе стало известно о том, что Фимка Денисов — страшный человек. Убил

Берендея. И не просто убил, а повесил в Лузановском парке, в полночь, при свете месяца, на самой высокой акации. Сообщила об этом Верка Хорькова. Фимка ничего не сказал в свое оправдание. Он лишь хмыкнул носом и как-то странно вызывающе усмехнулся.

Он подолгу всматривался в голубое небо и ждал, не появится ли там его египтянин? Нет, египетский голубь не возвращался. И всему виной был кот Берендей...

Мальчик печально глядел на опустевшую голубятню. Он плохо спал. Всю ночь, до самой зари, ему снились голуби. Он одиноко бродил по городу, молчаливый и хмурый, и, возвращаясь домой, без конца рисовал на листках бумаги своих пропавших любимцев, египетских голубей. Завести бы другую пару! Но породистые голуби стоят дорого. А дома с деньгами туго. Матери надо купить путевку в санаторий. Ему, Фимке, нужны новые башмаки. К тому же надо помогать бабке Александре...

Мать Фимки втайне радовалась исчезновению птиц: теперь мальчишка возьмется за какое-нибудь настоящее дело.

— Брось о них думать, — сказала она. — Погляди на себя, какой ты кислый. Да что с тобой?..

— Зуб болит! — солгал Фимка и снова принялся рисовать своих голубей. Вскоре все Фимкины карманы были заполнены этими рисунками.

А ребята во дворе решили судить пионера Денисова. Все собрались в садике, под тенью яблонь. Не пришла лишь Верка Хорькова. Сославшись на головную боль, она решила следить за судебным процессом, сидя на балконе, откуда хорошо было слышно и видно, что делается во дворе.

Первой выступила Галина Силина, длинноносая, как гречанка, девочка:

— Жестокости не место в пионерской организации! Коты едят голубей, а мы — мясо вола... Из этого не следует, чтобы волы вешали нас ночью в Лузановском парке на акации...

Фимка, состроив презрительную гримасу, заметил:

— А разве волы кружат в небе, как голуби?.. — Он хотел сказать, что голубь — это надежда людей, сражающихся за мир.

Но тут поднялась маленькая Юлька, дочь водителя автобуса.

— Очень славный был кот Берендей... — всхлинула она.

— Кота жалеете, а голубку вам не жалко! — крикнул Фимка со злостью.

Но все глядели на него сурово, осуждающе.

— И кота жалко, и голубку жалко, — вздохнув, произнесла Марта Бахарева, светловолосая тихая девочка. — Ведь кот Берендей глупый. Будь у него ум, никогда бы не тронул птицу... А ты, Фимка, не кот, а человек, ум у тебя есть, а ты взял и убил животное! Ты хуже Берендея!

— Это я хуже? — Фимка прищурил правый глаз и спросил: — А как же вы узнали о Берендее?

— Сказала Верка Хорькова.

— Врет она! — заявил Фимка торжествуя.

Он пристально взглянул на Верку, сидящую на балконе в соломенном кресле.

— Верно, сказала неправду... Это только мне так приснилось ночью! — не выдержав Фимкиного взгляда, крикнула с балкона Верка. С этими словами она шмыгнула в комнату и даже захлопнула за собой двери.

Наступило неловкое молчание. Все думали о Верке. Но что с нее взять? Глупая девчонка. И как все поверили ей?..

— Так, а где же Берендей?

— В моем сарае арестованный, сидит на одних мышах и воде! — сказал Фимка. Он улыбнулся. Сейчас перед ним все будут смущенно извиняться... Но, странное дело, на него глядели еще суровей.

— Пойду, — заявил Фимка обиженно.

— Нет, ты никуда не пойдешь! — остановил его Петр Соболев из ремесленного училища. — Ты нам скажи, отчего все время молчал?

— Оттого, что гордый!

— Дурак ты, а не гордый! — не сдержавшись, крикнула Галина Силина. — Ты был обязан немедленно оправдаться, чтобы никто не смел говорить, будто среди нас, пионеров, находятся кошкодавы!

— Надо строго наказать Денисова! — потребовала Марта Бахарева.

Тут из Фимкиного кармана выпали листки, на которых были изображены египетские голуби.

Суровые судьи посмотрели на эти листки:

— Выйди, Денисов, за ворота, а мы будем совещаться!

Минут через десять подсудимый вернулся и выслушал приговор.

Он гласил: «За то, что пионер Ефим Денисов не смыл с себя клевету, порочащую пионерскую организацию, вынести ему общественное порицание. И второе: подарить ему пару новых египетских голубей».

Судьи разошлись. Фимка остался один в садике. Он долго сидел на скамье, наблюдал за веселыми облаками, бегущими по веселому небу, и плакал, не то от стыда, не то от счастья...

А кот Берендей, освобожденный из сарая маленькой Юлькой, как ни в чем не бывало бродил по двору и насмешливо поглядывал на Фимку своими зелеными глазами.



БЕЛОСНЕЖКА

Так прозвали в школе Таньку Боневу. И не даром. Любила она все белое. И белые облака. И белые паруса. И белые туфли. А зимой, когда замерзало море и над ним бушевала снежная метель, выходила Белоснежка на лыжах подальше от берега и там до самого вечера кружилась вместе с метелью.

Все белое волновало ее. Она могла час-другой глядеть на белый цветок, выросший в поле. Сядет возле него, скрестив по-турецки ноги, и что-то бормочет над ним, словно колдунья.

Ну, а когда иней покрывал ветви деревьев, Танька становилась сама не своя. Идет, глаза вытаращит, рот откроет и никого не узнаёт на улице. А мы смеемся над Белоснежкой.

Однажды я, Лорка и Линка сказали:

— Белоснежка, как только склянки в гавани пробьют десять часов вечера, правой луны появляется планета Белая... Там живут белые люди, белые лебеди, растет белая пшеница, и даже подсолнухи там все белые...

Но Танька рассердилась:

— Зачем вы смеетесь надо мной? Я ведь не дурочка... Нет планеты Белой! А вот звезда «Белый карлик» есть, и живут там карлицы-лгуны...

— Значит, это мы карлицы? — спрашивает Ли́на.

— Понимайте как знаете!

Тогда рыжая Лорка, самая ершистая из нашей компании, говорит:

— Ты, Танька, больная. Помешалась на белом цвете. Тебе надо лечиться в психбольнице, на Слободке!

После этого Белоснежка перестала с нами здороваться.

Жила она на Рыбацком причале с отцом, береговым матросом, в домике под узорчатой черепицей. Танькин отец имел собственную моторную лодку. И она называлась, конечно, «Чайкой». Лодкой распоряжалась Белоснежка. Вот на этой самой «Чайке» захотелось нам в один из воскресных дней выйти в море.

Но с Белоснежкой мы были в ссоре.

— Пойдем мириться, ведь мы первые обидели ее, — предложила Линка.

Приходим.

Лежит Белоснежка на диване грустная.

— Белоснежка, мы мириться пришли.

— Мир так мир!

— Хотим выйти с тобой на моторной лодке в море.

— Ах, вот в чем дело?.. Не хочу вашего мира!

— Белоснежка, ты не обижайся.

Уткнулась Белоснежка лицом в подушку и молчит.

Мы рассердились на нее.

— Идем, достанем другую лодку! — говорит Лорка. — Не стоит с ней связываться... И вправду, пусть лечится!

— Никчемный народ вы, девчонки, недаром вас все мальчишки ненавидят! — бросает нам вслед Белоснежка.

Лодку мы достали. Взяли без спроса у дяди Кирилла, рыбака. Жаль только, что безмоторная. Выходим на веслах. Гребем, поем, обливаем друг друга водой. А день жаркий, душный. Никто из нас не заметил, как вдруг по морю пополз туман. Все скрылось в нем: и берег, и суда, и Рыбацкий причал. Куда плывем, не знаем. Стало нам страшно. А Линка закрыла ладонями свои глаза, чтобы никто не видел, как из них текут слезы.

— После такого тумана всегда шквальный ветер ударяет. Пропадем мы все. Давайте кричать... — говорит она.

Орем в три голоса. Никого. Перестали грести. Ветра нет. Но море как бы вспухает. Вот-вот загудит зыбью. А кругом белым-бело. И вдруг доносится из тумана голос:

— Так кому надо лечиться на Слободке?

— Белоснежка!

— У меня мотор отказал, — кричит она. — Вы только там без паники. У меня компас в руке. А туман, туман какой белый!

И тут мотор на «Чайке» как застучит...

— Ура! Ура, Белоснежка!

Берет она нашу лодку на буксир, и через час мы на причале.

А море уже гудит.

— Спасибо, Белоснежка!

Мы обнимаем нашу подружку и смеемся. Смеется и она.

— А знаете, — говорит, — может быть, и есть планета Белая, где даже все подсолнухи белые!



СТЕПИК ЖЕЛЕЗНЫЙ

I

Ему кажется, что он не Степик, а маленькое грушевое деревце. Оно одиноко стоит над морем. Холодный ветер прижимает деревце к самой земле... И вдруг он уже не деревце, а чайка. Чайка падает с высоты... Нет, не в море, а на хирургический стол,

залитый ослепительно белым светом. Степик вскрикивает от страха и просыпается.

Над ним стоит Кара Ивановна, дежурная медсестра, в белом хрустящем новом халате.

— Что тебе, Степик?

— Я не хочу в операционную... Не хочу... Не хочу, Каравана! — говорит Степик, стараясь приподняться.

В ответ Кара Ивановна молчит, неодобрительно качая головой.

— Не хочу! — повторяет Степик. — Я все равно безнадежный.

— Кто тебе это сказал?

— Один старик из общей палаты. Я слышал, как он говорил за дверью...

— Глупый он, твой старик. Ведь ты поправишься! Ты еще будешь как помидорчик.

— Не называй меня помидорчиком! — произносит Степик, брезгливо морщась.

— Тогда не называй меня Караваной.

— Ладно, — соглашается Степик, но сразу об этом забывает.

— Каравана!

— Снова? Ну ладно, я не обижаюсь.

— Пить.

Напившись, Степик просит:

— Открой окно.

В небе резвящимся табунком несутся белые облачка. Светит солнце. Кричат воробьи. В больничную комнату врывается пыльный воздух теплой одесской осени. Степик Железный глядит на веселые облачка, и в глазах мальчика появляются слезы:

— Пусть это всегда так будет...

— Что, Степик?

— И солнце... И небо... И воробьи...

— Ну и будет! Куда же им деваться! — нарочито

грубым голосом произносит Кара Ивановна. — И не воображай, что ты безнадежный, ты самый обыкновенный больной.

Степик знает, что с тяжелобольными не разговаривают так грубо, и немного успокаивается.

Кара Ивановна довольна.

— Прими лекарство, — говорит она.

— Нет, лучше уколи.

Кара Ивановна вставляет в шприц иглу и разбивает ампулу морфия.

Руки Степика все в уколах, и правая и левая.

После укола Степик спит. Когда он просыпается, за окном уже сумерки. В эту пору особенно громко кричат воробьи, а ласточки над окном кружатся еще быстрее, как будто мало они налетались за долгий день.

Кара Ивановна куда-то вышла, а мальчику скучно без нее. Он пытается встать, но не может, и все же он встает и подходит к окну. Он может ходить. Значит, ноги у него здоровые. Вот только тупая боль в пояснице.

Дверь открывается, и в комнату входит Кара Ивановна.

— Ложись, Степик. — Она ласково укладывает в постель больного мальчика.

— Скучно, — заявляет Степик. — Ты бы чего-нибудь спела.

— Я не певица.

И все же она поет — поет тихо, вполголоса, про аистенка, который отбился от стаи. Но голубое небо помогло маленькой птице...

Голос у медсестры, пожилой широкоплечей женщины с рябоватым лицом, добрый, мягкий.

— Ну и хитрая ты, Каравана. — Степик улыбается.

Неожиданно внизу, в больничном дворе, вспыхивает белый, необычной силы свет, и мальчик вздрагивает всем телом.

— Там? — спрашивает он. — Скажи!

— Да, там, в операционной.

Мальчишеское сердце останавливается. Степику кажется, что оттуда несутся страшные крики.

— Не хочу туда, не хочу! — с трудом выговаривает он. — Не хочу, Каравана!

— А еще пионер, и к тому же Степан Железный... — осуждающе произносит Кара Ивановна.

А Степику кажется, что свет проходит даже сквозь стены. Его ждет тяжелая операция. Удаление пораженной туберкулезом почки. Но, может быть, болезнь перекинулась на другую?

— Нет, нет... — так же испуганно, как и мальчик, шепчет медсестра.

— Каравана!

— Я слушаю.

— Уколи.

— Часа через два. А то не будешь спать ночью.

— Я все равно не сплю... Там еще свет?

— Да, идет операция.

— Скажешь, когда закончится.

Свет наконец гаснет.

От страха перед операционной Степику становится хуже. Он снова бредит. Он видит перед собой грушевое деревце, которое он посадил на берегу моря в Аркадии. Перед ним Степик виноват... Оно тоскливо шелестит листвою.

«— Видишь, Степик, какое я одинокое... Зачем ты посадил меня здесь?»

— Чтобы тебе кланялись волны и видели все проходящие корабли, — отвечает Степик смущенно.

— Не хочу, я не гордое. Я хочу быть со всеми

деревьями вместе в школьном саду... Людям нужны люди, а деревьям нужны деревья...»

«Верно...» — придя в себя, думает Степик.

Время — восемь часов вечера. Кару Ивановну сменяет другая сестра — Аня, высокая черноглазая девушка. Ее Степик не любит. Она то и дело глядится в карманное зеркальце и подкрашивает свои насмешливые толстые губы. Сейчас она бродит по коридору и чуть слышно напевает:

А в больнице три сестрицы, все кареглазки.

Валя режет, Ляля мажет, Аля — перевязки...

Степик не может понять: то ли она кого-то передразнивает, то ли поет всерьез эту противную песню?

Когда Аня заходит к нему с лекарством, он говорит:

— Подвинь мою кровать к окну, я хочу смотреть на звезды...

— На улице ведь дождь. Разве ты не слышишь?

Да, верно, дождь... По всему видно, что он зарядил надолго. Но Степик просит:

— Все равно подвинь.

— Простудишься. Вот лучше прими лекарство и пей до последней капли. Я тебе не Кара Ивановна. Я не стану с тобой церемониться!

Аня злая. Но руки у нее удивительно легкие. Вонзит иглу, и не слышно.

Дождь идет весь вечер. Всю ночь. Он — хорошая нянька. Всех убаюкал. Больные спят. Даже часы вместо своего обычного «тик-так» глухо и сонно выговаривают: «Хотим спать... Хотим спать...»

Спит и черноглазая Аня, присевшая на кровать в ногах у Степика.

Но он не спит. Его глаза широко раскрыты, Сте-

пик видит перед собой море. Он видит небо. Они озарены светом жаркого солнца. В них он, Степик Железный, как бы весь растворяется. Он — небо, в котором кружатся птицы. Он — море, в котором плещутся рыбы...

II

Кара Ивановна появляется на другой день. Она пахнет дождем.

— Ну, как мой Степик? — сразу интересуется она.

— Трудный. Все бормочет в бреду о каком-то деревце, — говорит Анята. — Звонил Савелий Петрович Зотов... Завтра осмотрит мальчика...

— Да, за профессором последнее слово...

К Степику не пускают ни папу, ни маму. Степик у них один. Когда мать смотрит на сына, она громко рыдает на всю больницу, словно никогда больше с ним не увидится. Отец Степика молча стоит рядом с ней и до хруста сжимает свои пальцы. После их прихода мальчику становится тяжелее.

На него с грустью глядит Кара Ивановна.

В коридоре раздается звон посуды. Ходячие больные шумно завтракают в больничной столовой.

— Вот и ты, Степик, скоро будешь обедать со всеми.

— Нет, не буду. Я безнадежный...

— Опять ты за свое? Нет, Степик ты не безнадежный. Завтра тебя посмотрит сам Савелий Петрович Зотов, он светило...

III

Светило — толстяк с волосатой родинкой на переносице. От него несет табаком, и сам он весь какой-то табачный. Под халатом рыжий костюм, и гла-

за тоже рыжие, табачные. Он — старик с седой гривой.

К Степику он заходит с Карой Ивановной.

— А, Степик! — говорит он так, словно знает Степика с самого дня рождения. Он так же, как и все, осматривает мальчика, мнет живот, стучит пальцами по спине и спрашивает, на что жалуется больной. С Карой Ивановной он перекидывается непонятными словами.

— Так, — положив руку на плечо Степика, наконец говорит он решительно, — надо оперировать. Берусь. Ты, Степик, не бойся. И температура у тебя сегодня будет нормальной...

Светило выходит в коридор и закуривает толстую длинную папиросу.

— Ох, какой ты счастливый, Степик!.. Сам... Сам взялся, — смеется Кара Ивановна.

Лицо у нее восторженное, сияющее.

Но Степик не разделяет ее восторга. Он с головой накрывается простыней, пропечатанной с двух сторон черными штампами больницы.

— Сам! Сам!.. — снова слышится голос в коридоре.

Время в больнице тянется медленно.

А за окном другая жизнь.

Там море. Там корабли. Там улица Портовая. На этой улице стоит дом Степика. Старинный. С четырьмя башнями на крыше.

С восточной башни открывается безбрежное море. Поглядишь с южной башни — видно самое синее над городом небо. С северной — над тобой самые золотые звезды. А с западной открываются голубые лиманы...

На Портовой улице находится и школа Степика.

«Интересно, кто сейчас сидит за моей партой? —

сбросив с себя простыню, думает Степик. — Наверно, ее занял Мотья Орловский. Мотья собирает рыболовные крючки. Крючков у него множество. Крючки селечные. Крючки кефальные. Крючки белужьи...»

Приходит Кара Ивановна и заставляет Степика измерить температуру. Профессор не ошибся: температура нормальная.

— Молодец, Степик Железный! — говорит она и снова оставляет мальчика одного. Теперь она может заняться другими больными.

А дождь все шумит. В небе полно туч. Там, за тучами, солнце. Нет-нет и оно проглядывает на миг сквозь тучи, и все становится золотистым, словно весной.

IV

За дверью слышатся осторожные шаги. Дверь открывается. Показываются две девичьи головы.

— Спит, — произносит одна из девушек с рыжей косой.

Но Степик не спит. Чуть приоткрыв глаза, он все видит. Это Вера и Люда из женского отделения. Они совсем не похожи на больных. Вид у них цветущий.

— Степик... Маленькое милое существо... — улыбается вторая девушка.

Вся кровь, до последней капли, возмущается в Степике. Он хватается первое, что попадает ему под руку, — это тапочки, и бросает их в девушек.

— А мы тебя пожалуйть пришли... Ну и злюка!

— Нужна мне ваша жалость!..

Когда дверь закрывается, Степик гневно повторяет:

— «Существо»!..

Он всхлипывает от обиды. Ничего, он еще покажет этой Верке!

Он поднимается. Подходит к окну. Глядит на деревья больничного сада. Их ветви, перепившиеся дождевой влагой, шумят и качаются, как пьяные. Какие они дружные и веселые. А там на берегу...

Степик надевает на себя халат и тихо направляется к двери. Прислушивается. В коридоре тихо.

Мальчик спускается по служебной лестнице и, никем не замеченный, выходит из больницы.

V

Мотька Орловский, ученик шестого класса, сидит у себя дома и разбирает свои крючки. Мотькино лицо, которое можно нарисовать даже с закрытыми глазами — круг, две косых черточки, две точки и скобка дугой вниз, — сейчас пылает, как само солнце. Сегодня один вилковский рыбак подарил Мотьке крючок для севрюги.

Неожиданно за дверью слышится тихий голос:

— Мотька,пусти!

Мотька, с трудом оторвав глаза от своего богатства, открывает дверь.

На лестнице стоит Степик Железный в больничном халате.

— Ты? — несказанно удивляется Мотька.

— Я.

— Живой?

— Будто не видишь?

— А все говорили, что ты уже не жилец...

— Я жилец!

— Тогда давай обнимемся.

— Давай!

— Ну и смешной ты в этом балахоне... Говори, что нужно?

— Дай мне какой-нибудь костюм, ботинки, и пойдем вместе...

— Куда? Отвечай скорее, а нет — не морочь человеку голову.

— Есть одно дело. — Степик важно приглаживает руками свои мокрые волосы.

Мотька любит не только свои крючки. Все таинственное — вторая страсть мальчика. Он мигом вытаскивает из шкафа костюм, кепку, а из-под кровати — ботинки для Степика. На всякий случай он берет с собой плащ-палатку и карманный фонарь.

— Хочешь, возьмем еще отцовское охотничье ружье, — задыхаясь от усердия, говорит Мотька.

— Ружье оставь... Бери лопату!

— Ага, клад?

— Пошли, Мотька.

— А далеко идти?

— На автобусе. В Аркадию.

Автобус доставляет мальчиков почти к самому морю.

Накрывшись плащ-палаткой, они идут вдоль берега.

Степик вспоминает о своей обиде:

— Мотька, меня девчонки называли маленьким существом...

— Ха, — восклицает Мотька, — это ты маленькое существо? Ты же зверь! Ты можешь один выходить в шторм на лодке!

Его слова звучат музыкой для Степика.

Но Мотька тут же критически замечает:

— И все же хилый ты... Ноги у тебя подкашиваются.

— Мотька, я совсем больной... Меня хотят разрезать... — признается Степик с тоской.

— А ты не давайся. Ты лучше умри целый.

— Ага...

— Вот только жаль с тобой, Степик, расставаться.

— Нужна мне твоя жалость!

— Не задавайся! Идти еще далеко?

— Здесь, — устало признается Степик.

Он останавливается перед маленькой, стоящей почти у самой воды грушей. Каждая ее веточка трепещет, как в лихорадке. Тонкий ствол гнется от ветра.

— Надо перенести наверх, в школьный сад... Когда деревья все вместе, расти им веселее...

На Мотькином лице разочарование. Он чешет затылок и не знает, как быть: то ли поколотить Степика, то ли молча уйти, повернувшись к нему спиной?

Но Степик говорит:

— Проверим, какой ты мне друг, Мотька.

Проверка дружбы — дело серьезное. Мотька снова скребет пятерней свой затылок и покорно кивает головой.

Степик первый берется за лопату. Голова у него кружится. Он видит перед собой море и не знает, что это такое. Он видит перед собой небо и не знает, что это небо. И только тогда, когда Мотька забирает у него лопату, мысли Степика проясняются.

— Отдыхай сколько хочешь! — сплевывая на ладони рук, милостиво разрешает Мотька.

Но Степик не слышит. У него снова кружится голова. Завернувшись в плащ-палатку, он устало садится и засыпает от слабости.

VI

Мотькина рука хватает его за шиворот и поднимает с земли.

— Все сделано! — кричит Мотька с гордостью. — Твоя груша уже наверху, в школьном саду... Видишь, даже помыл лопату.

— У тебя руки в крови...

— Да, растер немного.

— Большое спасибо, Мотька!

— Не надо... А ты спишь, как слон. Целых два часа. Я кричу: «Степик, Степик», а ты все бормочешь: «Каравана...» Это что, по-турецки?

Море и дождь шумят. Прислушиваются друг к другу.

Чайки с веселым криком охотятся у берега за хамсой. А вдали, в море, взлетают вверх серебряные полумесяцы. Это идет кефаль. Все живет. Все живое — живое!

В больницу Степик возвращается в семь часов вечера. Он с трудом держится на ногах. Он весь в береговой глине.

Кара Ивановна в ужасе всплескивает руками:

— Тебя искали... Отец... Милиция... Школа... Сейчас же надо сообщить, что ты нашелся!

— Скажет Мотька.

— Какой Мотька?

— Вместе были.

— Где были?

— На море.

— Ходил прощаться с волной — ясно... И что ты держишь в руке? Веточка...

— Груша, — говорит Степик. — Поставишь в операционной...

После этих слов Кара Ивановна сразу добреет.

— Теперь я вижу, что ты и вправду Степик Железный. Значит, не боишься? — забыв о вине мальчика, спрашивает она.

Не ответив, Степик молча ложится в постель. Все, что он мог сделать на земле, он сделал.

— Каравана, утромпусти Мотьку... Пусть стоит за дверью... — просит он тихо.

Утром в операционной вспыхивает яркий, белее снега, свет. И спустя два часа санитары на носилках выносят оттуда Степика. Вслед за ним идут врачи и студенты-медики. Последними из операционной выходят Савелий Петрович об руку с Карой Ивановной.

Закурив папиросу, он устало спрашивает:

— Где-то здесь должен быть мальчик Мотька?

— Я здесь! — неожиданно выйдя из-за колонны, заявляет Мотька.

— Ты? Ну вот, беги и скажи всем, что операция прошла блестяще!

— Есть! — орет Мотька, обрадованный.

Профессор закуривает вторую папиросу и говорит:

— Каравана?

— И вы?...

— Я тоже...

А Мотька, собиратель рыболовных крючков, стремглав мчится по лужам, поднимает ногами фонтаны брызг, брызги обдают прохожих, те возмущенно ругаются, но мальчик, летящий с радостной вестью, не имеет права останавливаться.



ЦЫГАНЕ

С одной стороны — степь. С другой — море. Море и степь молчат. Стоит жаркая тишина. Но в ней чувствуется какая-то напряженность. Может быть, упругость струны; тронешь — и резко зазвенит... И вдруг издалека доносится монотонный скрип колес. Это тащит усталая лошаденка подводу с жалким цыган-

ским скарбом. За подводой идут трое цыган, и с ними высокая цыганка с девочкой.

Идут молча: каждый погружен в свои мысли.

«Скверная пошла жизнь», — думает старый цыган Никола в рваной фетровой шляпе. Спекулировать перцем, синькой и нафталином строго-настрого запретили. А нет торговли — нет жизни. Надо работать. А работать не хочется. Его отец не работал. Дед не работал. Весь род Николы не работал, а только вольно шел по земле...

Второй цыган, Илья, — на нем городской костюм и модные узконосые туфли, — чему-то хитро улыбается. Вот как только они доберутся до Николаева, он бросит эту цыганку с девочкой, а сам подастся в Тбилиси. Там он будет играть в шикарном ресторане на скрипке...

Третий цыган, Павлик, слушая скрипучую песню колес, то и дело поглаживает ладонью свою нейлоновую рубашу. Рубашой Павлик гордится. Он купил ее в Одессе у греческого моряка за царскую сторублевку... Ах, какой глупый грек! Но что это? Рукав рубашки неожиданно отваливается. Расползается и другой. Павлик в бешенстве срывает с себя рубашу, рвет на куски и бросает на дорогу.

Но сейчас никто не обращает на него внимания.

Хуже всех выглядит цыганка. Ее широкая юбка — в заплатках, плюшевая кофта на груди вытерлась, и даже янтарные бусы потускнели на худой шее. Илья, муж цыганки, уже давно не заботится о ней. А к дочке он относится, как чужой.

Девочку зовут Анкой. Ей двенадцать лет. Она больна туберкулезом. В городе она лежала в детской больнице и вышла оттуда веселой и крепкой. А вот в дороге... Сухой кашель разрывает грудь девочки. Болят ноги — две смуглые палочки... Она плетется

позади всех и вспоминает, как ей славно жилось в больнице. А здесь пыль... Пыль... Злой отец. И молчаливая мать. Вот только один ленивый дед Никола добрый...

Слева степь. Справа море. Впереди слепящее глаза солнце. Море нравится Анке. Хорошо бы остаться здесь навсегда. Лежать на песке и глядеть, как пролетают над тобой белые птицы...

— Пить! — говорит Анка.

— Проглоти свой язык, дармоедка! — орет на нее отец Илья.

— Пить! — упрямо повторяет девочка. — Пить...

«Пить! Пить! Пить!» — подхватывают ласточки, не дающие покоя лошаденке.

«Пить!» — насмешливо каркает ворон, пролетающий над подводой.

— Вода вон там, за мысом, Анка. Потерпи, — говорит мать.

— Рано нам останавливаться, Мария, — недовольно произносит Илья.

— Гад! Собака! — вдруг гневно кричит Мария. От ненависти к мужу ее начинает трясти. Она поднимает с земли горсть пыли и бросает в Илью.

— У-у-у-у!.. — сдавленно вырывается из груди Ильи. Его глаза становятся красными.

— Эй, Илюша! — предупреждает Никола строго. — Только попробуй... Не люблю...

— Ладно, в другой раз припомню...

— Пить! — уже назло отцу твердит Анка и высывает свой сухой, шершавый язык как можно длиннее.

— Слышала, потерпи! — в свою очередь, кричит на нее мать.

До мыса не так близко: еще четыре километра. Приступы жажды изводят Анку.

Мария глядит на нее и, замедлив шаги, вытирает лицо подолом своей запыленной юбки. Ей жаль Анку. Она добрая. Умная. Научилась читать в детской больнице. И может играть на скрипке...

А перед глазами больной девочки уже не степь, а сад больницы. Там она взбирается на старую акацию, а доктор дядя Гриша, в золотых очках, кричит на нее, и чем громче он кричит, тем добрее становятся его глаза, такие же черные, как у деда Николы...

Но дядя Гриша далеко...

Вот и сам мыс, заросший бурьяном, татарником и белыми степными колокольчиками. За мысом — рыбацкий стан, с лабазом, моторно-парусными шаландами и сейнером «Лидия».

Подвода останавливается возле лабаза. Оттуда выходит заведующий, седой старик в кожаном картузе.

— Начальник, дай напиток, а кушать хочется, аж переночевать негде! — весело произносит Никола.

Простодушно-лукавая просьба цыгана нравится седому рыбаку.

— Вода есть. А в обед будет юшка. Ночевать — пожалуйста, можно на берегу...

Цыгане обедают с рыбаками. На обед чирусы, сваренные в крепком соленом саламуре.

— Куда держите путь? — интересуется один из рыбаков.

— Ищем работу, — отвечает за всех Никола.

— Зачем искать? Вот она, вся здесь. На ставные и тягловые невода — с дорогой душой. А жинку ко мне в лабаз, засольщицей... — предлагает седой рыбак.

Цыгане-мужчины пугаются.

— Есть, есть работа, — объявляет Илья. — Старик старый, забыл, в голове ветер гуляет... в Николаев идем, на завод, флот будем делать.

Анка ненавидит ложь. Она хочет сказать, что ее отец говорит неправду. Он лживый цыган. Все врет в нем: и глаза, и рот, и сердце...

После обеда рыбаки выходят в море. На берегу остаются лишь трое. Они принимаются смолить вытасненную на берег фелюгу.

Цыгане отдыхают. Илья спит под телегой. Дед Никола раскуривает свою трубку с металлической крышкой. Павлик уходит в поселок с черепаховым портсигаром: кто знает, может быть, кто-нибудь на него здесь польстится?

Цыганка Мария кормит лошаденку. Глаза у лошаденки темно-лиловые. Она слепая.

Анка моет ноги в морской воде. Потом бродит по берегу. Ветер, он только что проснулся, гонит к берегу волну, и она, накатываясь на песок, что-то таинственно шепчет, совсем как гадающая цыганка...

Воздух пахучий, теплый. А вдали серебрятся белые рыбацкие паруса.

Из поселка вернулся Павлик с удачей. На нем старая парусиновая куртка. Он весело смеется.

Неожиданно над морем раздаются сигналы пионерского горна. Анка замороженно глядит в сторону, откуда они несутся. Значит, там, за мысом, в тени кленовой рощи, находится пионерский лагерь. «Возьму скрипку, поиграю там», — думает повеселевшая Анка.

Она подходит к подводе и, стараясь не разбудить отца, вытаскивает из рогожного свертка скрипку...

Мальчик в полосатой матросской тельняшке первый замечает Анку.

Она стоит в глубине рощи и, прислонившись к стволу клена, играет на скрипке. Девочка худа, обрванна, башмаки ее стоптаны, вот-вот развалятся. Увидев мальчика, она опускает смычок.

Мальчик с любопытством разглядывает незнакомку.

— Кто ты такая? — спрашивает он.

— Цыганка я...

— Нищая?

— Ага, нищая, — охотно соглашается Анка.

— Значит, бродяжка бездомная?

— Ага, бродяжка.

Мальчик внимательно глядит на цыганку и снова спрашивает:

— Плохо это быть бродяжкой?

— Ой, как плохо... А когда ничего... Идешь, идешь, и степь слушаешь, и море... И звезды над тобой...

— А побираться тебе не стыдно?

Анка опускает голову. Ее губы беззвучно шевелятся.

— А играешь ты славно... — говорит мальчик.

— Нравится? — оживляется девочка. — Это я пришла вам поиграть... Тебя как зовут? Меня — Анкой.

— Я Мишка Соколовский... А ты, видать, сирота?

— Отец есть... Злой... Не люблю! А мать жалею...

— Значит, ты всю жизнь будешь вот так ходить?

— Нет, дойду до гор, а там взберусь на самое высокое место и навсегда останусь... И скрипку украду...

— Разве это не твоя скрипка?

Анка глядит на старую скрипку, крытую черным лаком, всю в желтых пролысинах, и говорит:

— Отцовская... Узнает, что взяла, бить будет. Вон он кричит там, слышишь?

Мальчик и девочка выглядывают из-за деревьев. Цыган Илья мечется по берегу и хрипло орет:

— Анка, чтобы ты подохла, чахоточная! Говорил, не трогай скрипку! Эй, где ты, подлая?

— Анка, ты лучше уходи от них, возвращайся в Одессу. Там тебя возьмут в школу... — говорит мальчик и кладет руку на плечо девочки. Помолчав, он добавляет: — Приходи к нам в лагерь.

— Приду... Сама хотела... Буду играть вам днем и ночью...

Анка возвращается к лабазу. Цыган Илья пинает дочку ногой. Анке не больно, но она падает на землю и долго лежит не шевелясь. Желтый крупный песок пахнет рыбьей чешуей. По-видимому, рыбаки с утра выбирали здесь тягловый невод.

Неожиданно Анка чувствует на своей спине руку матери.

— Анка?

— Ага.

— Останемся здесь... Договорилась. Буду рыбу солить в лабазе. А как только дадут получку, куплю тебе скрипку...

— Правда?

Анка всхлипывает от радости, целует шершавые руки матери:

— А наш отец, Илья?

Не ответив, Мария сплевывает через плечо, как делают все цыгане, когда им дорогу перебегают черная кошка, и глядит на облака.

— Спи, Анка, — говорит Мария.

Девочка просыпается от громкого крика. Она вскакивает на ноги и видит — подвода готова двинуться в путь. Отец тащит к подводе мать. Она в резиновых сапогах и резиновом фартуке.

— Остаюсь! — кричит Мария.

Губы у Ильи белые. Он берет с передка подводы кнут и изо всех сил ударяет кнутовищем Марию.

Павлик хмурится. А дед Никола с сожалением глядит на Илью и чадит трубкой.

Он сам не любит Илью. Но цыганский закон есть закон. Цыганка не должна перечить цыгану. Он, дед Никола, должен поддерживать цыганский порядок.

Илья, который задумал бежать от жены и дочери, меняет решение. Теперь он всю жизнь будет держать ее при себе и бить. Пусть знает, как идти против воли мужа. Он снова замахивается кнутовищем.

Анка с криком бросается на защиту матери. Но рыбаки опережают маленькую цыганку. В их сильных руках Илья извивается, как змея.

— А ну, прочь отсюда! Женщина своей волей у нас осталась.

— Убью! — хрипит Илья.

Заведующий лабазом берет под руку деда Николу и говорит:

— Ты, Никола, здесь старший, пожалуйста, убери своего Илюшку...

— Да, верно, верно, — соглашается дед Никола.

Подвода трогается. Но, отъехав метров на сто, она останавливается.

Никола, придавив пальцем раскаленный пепел в трубке — так табак становится злее, — с открытой ненавистью глядит на Илью. Вот из-за него могут сказать, что он, Никола, не хотел помочь приятелю... Надо что-нибудь сделать... Он, Никола, старый и хитрый.

Плюнув в сторону Ильи, он вытаскивает из кармана часы темного серебра, с грубой, такой же темной цепочкой, на которой болтается брелок в виде красного сердечка. За такие часы любители старины могут дать пять-шесть рублей. Но Никола ради цыганского дела готов с ними расстаться. Впрочем, они уже не нужны старику, его время прошло...

— Пойдем, Павлик, а ты, Илья, оставайся, — говорит он, глубоко затягиваясь.

Никола и Павлик возвращаются к рыбакам.

— Народ цыганский пожалейте, товарищи начальники! — приложив руки к груди, произносит Никола. — Зачем вам худые цыганки?

— Они воровки и вшивые! — говорит Павлик, скаля зубы.

Анка возмущается.

— Врет, врёт, он сам вшивый! — кричит она.

Но мать уводит Анку в лабаз к чанам, наполненным серебряной рыбой.

А Никола подходит к седому рыбаку и протягивает ему старинные карманные часы.

— Бери, бери, только народ пожалей цыганский...

Заведующий лабазом берет часы, разглядывает их и говорит:

— Отстали.

— Немного, совсем немного! — заверяет Никола.

— На сорок четыре года отстали твои часы. Забери их, старый! — сердито произносит рыбак и хмурится.

Никола, взяв часы, возвращается к подводе.

— Пошла! — диким голосом орет он на лошаденку.

Подвода трогается.

Первым за ней идет Илья. Идет длинными, медленными шагами.

Пыль... Пыль...

Дед Никола курит на ходу трубку и тоскливо глядит на дорогу.

Не впервые он идет по ней. Когда-то проходили здесь многолюдные цыганские таборы, шли — земля дрожала. Шли с песней. Шли с пляской. Все пьяные.

А теперь? Изменяют цыгане своей цыганской жизни. Кто оседает на земле, кто трудится на заводах, а

кто даже учится в школе... Зажирело цыганское племя!..

— Тьфу! — плюет старый цыган с досадой.

— Это на нас, Никола? — интересуется Павлик.

— На кого же? На вас, скверные вы цыгане, тухлые!

Но Павлик не обижается. Признаться, у него самого есть тайные мысли — сделаться киномехаником где-нибудь при Дворце культуры. Он даже завидует Марии и маленькой Анке. Похоже, что жизнь там, на море, даст им счастье...

Молча тяжело шагает Илья, отравленный злобой.

Дед Никола не выпускает изо рта трубку, что-то бормочет, порой ему чудится впереди топот бешено летящих коней, но он знает — это балует степь, дразнит старого Николу...

Не унывает по-прежнему один Павлик. Он вспоминает о часах Николы, и ему становится смешно.

— Ха, на целых сорок четыре года!..

Разозлившись, Никола ударяет Павлика кулаком в грудь. Но тот и на этот раз не обижается. Он не имеет права поднять руку на старика. Никола, по всем признакам, скоро умрет где-нибудь на дороге.

А подвода все жалобнее скрипит своими четырьмя колесами. Жара. Пыль. Степь.



„БАНДЕРА РОХА“

После долгих лет плавания на судах торгового флота боцман Матвей Корнеевич Прохоров возвратился в Одессу с приемышем Энкарнасион, Энкой, — маленькой черноглазой испанкой.

По-русски она говорила гортанно, быстро, то взмахивала руками, словно старалась удержаться на

гребне высокой волны, то прерывала разговор смехом.

Смех от зари до зари звенел в доме на Приморской. Но к вечеру, когда склянки в порту отбивали четыре двойных удара, во дворе раздавался голос Матвея Корнеевича:

— Утихни там, Энка! Спать! Живо наверх!

— Да, да, миа капитан папа, я сейчас, я быстро! — тараторила в ответ девочка и стремглав взлетала наверх по скрипучим старым ступенькам.

Дом, в котором они поселились, стоял на стыке двух гаваней — Угольной и Арбузной. Желтый, обветренный, каждым своим углом похожий на нос корабля, он с первых же дней понравился девочке. Ей нравилась близость моря. В самый разгар увлекательной игры в «классы», где нужно кружиться и прыгать на одной ноге, как цирковая плясунья, она бросала подруг и с дворовыми мальчишками шла в гавань.

Вместе с ними она плыла навстречу парусникам, груженным херсонскими арбузами.

Старый моряк запрещал девочке проделывать это, обещал поколотить, даже грозил оставить одну, а самому вновь отправиться в море.

— Нет, нет, ты меня не бросишь! — пряча в глазах лукавые искорки, возражала девочка.

— Ты можешь утонуть. Ты, Энка, еще маленькая.

— Нет, море меня любит.

— В бухте водятся спруты, и щупальца у них толще мачты.

Матвей Корнеевич принимался рассказывать страшные матросские сказки о скумбрийном царе Селигарде, о Зеленушке, о Тендровском скате, насылающем на людей желтую когтистую зыбь...

Но вода в море была тихая и светилась приветли-

вой синевой. Она до самого дна была полна солнца, и Энкарнасион весело и громко смеялась.

Приближалась осень. Старый моряк с беспокойством поглядывал на девочку. Как перенесет стужу юная валенсийка?

Ветви деревьев медленно роняли листву. Над городом, гаванью, морем стояла прозрачная, янтарная тишина, какая бывает лишь в последние дни осени.

Холодные ветры налетели сразу. Город изменился. Загудели длинные косые дожди, и все сделалось неприглядно серым.

Испанка притихла.

Жалась к огню, напевая грустную песенку о Хоселито-дождинке.

В одну из ночей, когда, заглушая рокот портовых кранов, бесновался норд-остовый ветер, Матвей Корнеевич, поднявшись, осторожно снял открытки с видами Валенсии, висевшие над кроватью девочки.

Но, проснувшись утром, маленькая испанка рассердилась:

— О, миа капитан папа, кто взял мою Валенсию?

Матвею Корнеевичу пришлось вновь прибить к стене виды Валенсии.

— Больше не прячь! — Она указала рукой на сердце: — Валенсия — здесь. И Одесса тоже здесь, миа капитан папа...

Моряк ласково смотрел на девочку. Она все ближе жалась к огню — чугунному казану, в котором трещало желтое пламя.

— Придется кутать тебя в меха, как эскимоску, Энка, — сказал Матвей Корнеевич.

Но испанка весело встретила первый снег. Лепила снежную бабу. Играла в снежки. Бродила в гавани под ледяным ветром.

«Видишь, какая твоя Энка!» — говорили Матвею Корнеевичу глаза девочки.

Как-то раз Энка сказала:

— Миа капитан папа, все девочки во дворе ходят в школу, я тоже хочу заниматься, учиться плясать...

— Плясать?

— Да, я хочу в училище танцев.

— Нет, — сказал Матвей Корнеевич, — быть танцовщицей — это для тебя мало. После школы ты пойдешь в медицинский институт, станешь врачом.

— Не хочу!

— Тогда в мореходное училище: ведь ты любишь море. Твой дед, твой отец — моряки.

— А я хочу сделаться балериной! Смотри! — Энка принялась отплясывать «хотта баска», кружась, как легкий весенний ветерок. — Смотри, миа капитан папа, как я танцую!

Она настояла на своем.

Пришла весна. Ветры апреля, теплые, мягкие, как крыло чайки, парящей в полдень над морем, веяли над Одесской бухтой. Весна в гавани расцветала флагами кораблей. Рокотали лебедки. Пестрели марки разнообразнейших судовых обществ на пароводных трубах.

Это был мир кораблей — мир Матвея. Много лет провел боцман на ближних и дальних морях.

И теперь море не раз звало моряка вдаль. Желание продолжать морскую службу, вопреки запрету врачей, не раз охватывало его. По-юношески загорались глаза старого боцмана, когда он глядел на море.

— Теперь я человек-якорь, — не то печалюсь, не то шутил говорил он Энкарнансион. — Да, Энка, якорь...

— Неправда, ты и я — паруса, мы несемся... Навстречу Валенсии я несусь. Я поживу там немного —

ну месяц, два, — а потом вернусь к тебе. Здесь хорошо.

Матвей Корнеевич с нежностью гладил черные локоны девочки. Он верил — она навсегда останется с ним в Одессе.

В апреле он поступил мастером в такелажные мастерские порта.

Теперь хозяйство вела Энка. Быстрая, ловкая, она успевала отлично заниматься и хорошо готовить обед — правда, такой, какой она любила: много перца, много бобов, много томата.

— Ах ты, перечный дьяволенок! — делая вид, что сердится, говорил Матвей Корнеевич, но охотно брался за ложку.

Девочка, сидя против него, рассказывала о школе:

— Сегодня классный руководитель сказал: «Эспаньола, ты уже славно пишешь и говоришь по-русски». Вот какая я...

— Хвастунья! — останавливал ее Матвей Корнеевич.

— Нет, миа капитан папа! Я не хвастунья. Приди в школу — тебе все скажут. Весь наш класс!

— Ладно, ладно, я пошутил, Энка. Ну, что еще произошло там, в школе?

...22 июня 1941 года фашистские бомбы обрушились на город. Энка испуганно вскрикивала. Металась по комнате. Напрасно утешал ее старый моряк. Она плакала и зажимала ладонями уши.

Но вскоре Энка привыкла к бомбежкам. Защитники Одессы до сих пор помнят старого моряка и рядом с ним стройную, красивую девочку.

В город вошли фашисты.

Была осень. Она выдалась необыкновенно тихой. На деревьях еще крепко держалась листва. Море синело.

Обычно в такие дни в порт приходили парусные дубки, груженные фруктами, помидорами, арбузами. Запахи южных садов властвовали на портовых причалах. От них хмелел и пьяно кружился черноморский ветер.

Где же паруса твои, гавань? Где корабли? Где же твой хмельной черноморский ветер?..

Едким дымом пожарищ пропитан воздух. Пустыня гавань. Клубится над городом желтая пыль развалин. Сутулясь, проходят люди. Одни торопливо — им грозит опасность, другие медленно, чересчур медленно — так проходят мимо обрыва.

Ночью и днем через город шли войска оккупантов. Сжав кулаки, глядела на них Энка.

Матвей Корнеевич озабоченно хмурился, дымя трубкой, которую часами не выпускал изо рта. Шагал от стены к стене тяжелыми, большими шагами. Нередко с наступлением темноты он куда-то уходил, возвращался на другой день, и Энка готова была поклясться, что руки Матвея Корнеевича пахнут пороховым дымом.

— Возьми и меня! — просила она. — Возьми! Я на что-нибудь пригожусь!

— Не дури, Энка! — сердито отвечал Матвей Корнеевич.

В доме на Приморской размещались немецкие офицеры. Двум из них приглянулась комната старого моряка.

Это были Гуг и Отто, как называли они друг друга, земляки, оба ганноверцы.

— Отсюда широко видно море, — сказал Гуг.

— И здесь тепло, — добавил Отто. Он поглядел на Матвея Корнеевича и довольно хорошо произнес по-русски: — Ты, старик, получишь сахар, табак, консервы за беспокойство. С нами выгодно ладить.

— Вы можете жить с девчонкой на кухне, — милостиво разрешил Гуг.

Матвей Корнеевич согласился.

— Что ты делаешь, старик? — спросил Гуг.

— Грузчик в гавани... Вот сейчас иду на работу, а если вам что-нибудь нужно, скажите девочке — она хорошая хозяйка.

— Иди. С нами хорошо ладить, — повторил Отто.

Матвей Корнеевич отвел Энку на кухню и глухо, отрывисто сказал:

— Веди себя так, словно ничего не случилось.

Энка кивнула головой:

— Да, миа капитан папа.

Матвею Корнеевичу не нравились глаза Энки, в которых нет-нет да и вспыхивали огоньки, но сейчас же гасли, как далекие морские сполохи. — Помни, Энка... — еще раз сказал он девочке.

— Да, хорошо.

— Будь умницей.

— Да.

Перед тем как уйти, Матвей Корнеевич привлек девочку к себе и тихо произнес:

— Вот что, слушай. Если сегодня ночью в порту станет светло, ты можешь сказать даже два раза: «Миа капитан папа — молодец».

— Ты?..

— Да. Молчи.

Он обнял Энку и вышел.

До самого вечера офицеры отдыхали. Отто дремал на тахте, а Гуг лежал на кровати и деловито плевал на пол, стараясь составить из плевков женское имя — Марта.

На улице шумел дождь. Гугу никогда не нравились дожди.

— Отто! — закричал он, ворочаясь с боку на

бок. — Меня сейчас вытошнит от этого водяного марша!

— Это потому, что ты родился с плесенью в костях, — сонно забормотал Отто.

— Не шути, я на самом деле отсырел!

— Тогда — коньяк, — предложил Отто.

— Ты всегда говоришь дело!

Гуг поднялся и, поглядев в окно, объявил:

— Там, в гавани, что-то горит. Кажется, бензин.

— Черт с ним, он румынский, — ответил Отто.

— Я спрашиваю, какого черта фюрер отдал Одессу румынам? — заворчал Гуг.

— Ты прав. Но политика — не наше дело. Нас интересуют музеи... Что ты скажешь о коньяке?

— Две бутылки, французский, — повеселев, отозвался Гуг. — Вставай, закрой ставни и зажги свет... Там, в гавани, здорово горит...

Энка глядела на гавань из окна кухни. Река высокого пламени бушевала на причале горячих грузов.

— Гори, гори, гори! — запела она. — Молодец, миа капитан папа!

— Эй, там, на кухне! — слышался голос.

Девочка вошла в комнату. Немцы приканчивали первую бутылку.

— Мы хотим есть. Что ты можешь сделать? — спросил Отто.

— Всё. Но в доме, кроме картошки, ничего нет.

— У нас есть консервы. Разогрей.

Энка кивнула и отправилась на кухню.

— Как тебе нравится девчонка? — спросил Гуг.

— Селедка! — поморщился Отто.

— Селедка, — подтвердил Гуг. — Начнем вторую.

После второй бутылки Гуга развезло. Он был порядком пьян и болтал разный вздор.

— Ты пьяный дурак, — заключил Отто, который пил не пьянея.

— Марта! — закричал Гуг.

— Она не Марта.

— Кто бы она ни была... — поднявшись, забормотал Гуг. — Я пойду посмотрю, что она там делает...

Но, подойдя к двери, он споткнулся и грохнулся на пол. Отто рассмеялся.

Когда испанка с тарелкой в руках вошла в комнату, она испуганно попятилась назад: Гуг, растянувшись во весь рост, лежал возле дверей и громко храпел.

— Шагай через него, — приказал Отто. — Не бойся, он всегда так. Смотри не урони консервы... В какую школу ты ходила?

— Хореографическое училище.

— Это очень, очень хорошо, — одобрил Отто. — Так ты балерина?

— Да.

— Ты, вероятно, можешь и петь?

— Могу.

— Очень приятно! Ты меня будешь развлекать, я люблю пение.

Девочка не ответила. Ее глаза блуждали по сторонам. Она не хотела глядеть на фашиста.

— Я пойду, — сказала она.

— Нет, постой!

Отто раздраженно отодвинул тарелку.

— Пой, я слушаю, — приказал он, — а потом ты спляшешь. Споешь и спляшешь...

— Ни то, ни другое, — тихо проговорила Энка.

Фашист удивленно посмотрел на нее.

— Ты сделаешь все, что я только захочу, — сказал он, растягивая слова. — Пой: я всегда любил пение.

— Нет! — Она с открытой ненавистью глядела на немца, лоб которого сделался розовым и потным.

— Не шути! — крикнул он и, сняв ремень, больно хлестнул девочку. — Ну, живо! Петь!

Энка не тронулась с места. Она стояла, как каменная. Град хлестких ударов сыпался на нее. Но ни один мускул не дрогнул на ее худом смуглом лице.

— Пой, пой, пой! — не переставая, вопил Отто.

— Я не пою свиньям, — наконец вымолвила она.

— Что ты сказала?

— Я не пою свиньям!

Фашист сел. Теперь все его лицо было мокрым от пота. Левое плечо вздрагивало.

— Пой! — снова визгливо завопил Отто.

— Хорошо, — вдруг согласилась Энка.

Она гордо подняла голову. Как жаркое, светлое пламя поднялась песня «Бандера роха».

Фашист встал, сел, снова поднялся и вынул из кармана брюк парабеллум:

— Так вот ты какая!

Прогремел выстрел. Энка упала грудью вперед, подняв руку, словно держала древко красного флага...

Спустя несколько дней партизаны привели Отто к Матвею Корнеевичу на берег моря.

— Суди, он твой... — сказали они.

Моряк даже не взглянул на убийцу.

— Жаль, что ничего злее смерти не придумаешь для него, — глухо сказал он. — Прикончите в овраге, за Крыжановкой. И не бросайте его в море... Не поганьте волну.



ХРАБРАЯ ДЕВЧОНКА

Молодой врач Нина Борисовна Орлова рассказывает:

— Есть на Парусной улице три мостика. Под ними стекают в море воды подземных ключей. Вот как-то раз иду я по этой самой Парусной и вижу: сидит на первом мостике девчонка, Галка Кочевая. Сидит, болтает ногами и кому-то кричит, как боцман:

— Эй ты там, держи левее, не бойся!

Оглядываюсь — никого. Продолжаю свой обход по Парусной улице, а Галка уже на втором мостике.

— Не бойся, да не бойся, глупая, так держать! — кричит она.

Снова оглядываюсь. Никого. К кому же обращается Галка? А она тем временем уже к третьему мостику бежит, но не садится на него, а входит в зеленую воду по самый пояс и вытаскивает оттуда кусок плоской пробки, на которой сидит мокрая, насмерть перепуганная пчела.

Я подхожу к Галке и строго говорю:

— А ну-ка выходи на берег, бесстыдница!

— Тетя доктор, это я пчелу спасала. Водяные жуки напали на нее... Видите, пчелиный кораблик перевернули...

— Отчего же они перевернули?

— Жуки завистливые и все черные, а пчелка золотая, — отвечает Галка.

А пчела обсушила на солнце свои крылья и взмыла ввысь.

— До свидания, залетай в гости! — машет рукой Галка.

На другой день меня вызывают к Галке Кочевой. Лежит девочка с температурой.

— Это она в канаве купалась. Пчелу спасала, — говорю Галкиной матери.

А та лишь руками разводит:

— Просто не знаю, что делать с ней. Глупей девчонки во всем мире не встретишь. Весной совенка притащила, а в прошлом году — аиста со сломанной ногой... Говорит, от дикой собаки отбила...

Я выхожу на улицу, смеюсь и думаю: «Растет на Парусной улице Галка Кочевая — добрая, храбрая девчонка».



БОКС

На борту «Сабины» сидит маленький англичанин в черном берете, рыжий и длинноногий. Он курит трубку, пускает из носа дым и все время сплевывает сквозь зубы. По всему видно, что трубкой он обзавелся лишь для солидности.

Но какая там солидность, когда глаза у него — две серебристые пуговки, губы пухлые, а худые руки

по-детски беспокойны: то барабанят пальцами по коленкам, то крутят чуб, отливающий нежной бронзой... Такими руками хорошо ловить мяч да запускать в небо воздушного змея. Но мальчик — моряк, юнга, кормилец семьи. Все свое жалованье он отправляет в Гуль, домой. Там у него мать, отец-инвалид и три сестренки: Бэт, Мэг и Клэр, одна меньше другой. Они славные девчушки. Но лучше, если бы их вовсе не было...

О, тогда он, Генри, показал бы, кто он такой!

Не сиди у него на шее Мэг, он сказал бы боцману Дрюсу:

«Сэр, вы большая, тупая, бородатая свинья!»

Не будь у него заботы о Бэт и Клэр, он заявил бы перед всей командой:

«Эй, боцман Дрюс, я плюю на ваш бокс, потому что в мире есть вещи куда получше!»

И никто из команды не посмел бы тогда подумать, что он, Генри, боцманский холуй...

Но он должен молчать. Должен во всем угождать Дрюсу. Дрюс — правая рука капитана, безвольного старого человека...

Дым трубки становится таким горьким, что лицо Генри перекашивается.

В это время боцман Дрюс, бывший боксер, сто двадцать килограммов веса, как слон бродит по кораблю, ворчит на матросов, и на его красном бородатом лице написаны скука, жестокость и даже обида. Дело в том, что команда «Сабини» — будь она проклята! — сплошь состоит из одних болельщиков футбола. Тоска... Еще хорошо, что он может отвести душу с юнгой.

— Эй, юнга, что ты думаешь о Кребсе?

Юнга о нем ничего не думает. Его голова полна другим. В ней и золотые звезды морей. И сады Индии.

И тоска по дому. Кребс не имеет к нему никакого отношения... Но, увы, Генри должен с самым глубоко-мысленным видом ответить:

— Кребс — паровой молот, сэр!

— А что ты скажешь о Перро, детка?

Перро — любимец боцмана, и здесь Генри обязан восторженно растянуть рот до самых ушей и сказать:

— Он молния, сэр! Он ракета, сэр!

Боцман удовлетворенно смеется.

И так изо дня в день.

С востока приходит черноморский горячий ветер и тихо всплескивает волной. Работа на палубе заканчивается. Завтра чуть свет «Сабина» выгрузит из последнего трюма груз — бразильскую пробку — и выйдет в море.

Генри встряхивает из трубки пепел и закрывает глаза. Сейчас, пожалуй, он немного вздремнет. Во сне он увидит Мэг, Бэт и Клэр. Но неожиданно с «Зарницы», которая стоит рядом с английским судном, доносится голос:

— Добрый день, юнга!

Это кричит по-английски русский мальчик, повзренок в белой куртке.

Генри открывает глаза. Он забывает о своем желании поспать. Он приветливо отвечает:

— Добрый день, бой! Я вижу, ты хорошо говоришь по-английски?

— Говорю, нас в школе учили.

— Тогда знай: меня зовут Генри!

— А ты знай, я — Сенька!

— Давай дружить, ты мне нравишься, Сенька, — смеется Генри.

— Давай, — охотно соглашается Сенька.

— Хочешь, я приду к тебе в гости?

— Приходи, не спрашивай.

Генри сбегает по трапу «Сабины» на берег и поднимается на советское судно.

Много ли надо времени, чтобы мальчишкам подружиться? Не проходит и десяти минут, как Сенька уже знает о сестрах Генри, а Генри — о семье Сеньки. Что же, он не жалуется. Правда, и у него в жизни не все гладко. У Сеньки нет отца, есть отчим, дурак и скряга... И море стало родным домом мальчика. И школой. Сам боцман «Зарницы», старик Петрович, побывавший на всех морях и океанах, занимается с Сенькой. Осенью он поступит в морское училище.

Генри глядит на русского с нескрываемой завистью. И он бы хотел учиться. Но на худых плечах Генри три сопливые девчушки... И тут еще Дрюс...

— Он злая свинья, — говорит о нем английский юнга печально.

— Да, я слышал, как он читал тебе вчера на баке мораль.

Генри краснеет: неужели Сенька слышал этот разговор? Он еще до сих пор звучит в ушах Генри.

«Генри, кто я такой, а?»

«Вы мой покровитель, сэр».

«Так, так. Ну, а если бы не я, где бы ты находился, детка?»

«В сточной канаве, сэр, в тюрьме, сэр, я бы сгнил без работы, сэр, как помидор на свалке».

«Отчего же ты спишь, когда я рассказываю о боксе?»

«Я больше не буду, сэр!»

Да, Сенька слышал. Слышали и матросы. Им нет никакого дела до Генри. Они пьяницы, сорвиголовы и бродяги... Но кто же тогда кладет под его подушку то апельсин, то яблоко? Конечно, не Дрюс. Нет, моряки «Сабины» не бродяги... Они ненавидят войну и готовы всех поджигателей вздернуть на рее. Да, на

свете есть вещи похуже Дрюса... Война... Она в один миг может убить Мэг, Бэт, Клэр, и весь Гуль, и весь мир, будь она проклята вдоль и поперек, слева направо и крест-накрест!..

Мальчик вздыхает, втягивает голову в плечи и задумывается.

День идет на убыль. Но странное дело — морская даль становится еще шире, еще синее. Кружатся над кораблем чайки.

— Эй, где ты, Генри? — вдруг раздается голос боцмана Дрюса.

Генри вздрагивает.

— Я здесь, на русском судне, сэр!

— Вижу, завел дружка?

Склонившись с борта «Сабини», Дрюс бесцеремонно разглядывает мальчиков и говорит:

— Неплохо побоксировать, детки, в такой денек. Совсем неплохо. Я знаю, Генри, за тобой дело не станет. Верно, я не ошибся?

Лицо Генри вытягивается. Оно жалкое и несчастное. Но еще несчастнее глаза мальчика. Если он откажется драться, Дрюс все сделает, чтобы избавиться от него, и тогда сестры три дня в неделю будут сидеть на одной овсянке...

— Ты готов, Генри?

— Нет, сэр... Да, сэр!

Сенька удивлен. Он не верит своим ушам. Мальчишеская, так славно начавшаяся дружба рушится.

— Неужели ты хочешь со мной подраться, Генри? Но я даже не думаю...

Генри рад, слова Сеньки для него как музыка. Нет, драки не будет, пусть Дрюс даже лопнет от злости. Генри готов расцеловать Сеньку.

А боцман Дрюс, словно прочитав мысли юнги, кричит:

— Генри, это твой последний рейс, детка!

— Сэр...

— Никаких «сэр». Вызывай русского — ты его побьешь. Разве не видишь, что он боится?.. У него дрожат коленки...

Лицо Сеньки белеет словно гребень волны.

— Ха, это я боюсь?

Боцман Дрюс с наглой усмешкой кивает головой.

Сенька с трудом сдерживается, чтобы не плюнуть в его бородатую физиономию, и говорит:

— Хорошо, я буду драться... Только я дерусь больно даже в перчатках, слышишь, Генри?

Генри слышит. Он не боится. Его уже не раз колотили по вине Дрюса. Этой весной в Бергене он три дня провалялся на койке. Но тут совсем другое... Генри не может вынести взгляда Сеньки, который смотрит на него со злой и гадливой жалостью.

— Где будем драться? — спрашивает Сенька.

— На «Сабине», — говорит боцман. Он потирает руки и вызывается быть судьей.

— Эй, все наверх, живо!

И вот мальчишки в кожаных перчатках (ими их снабдил Дрюс) становятся друг против друга на люковинах среднего трюма.

Мальчишки сближаются. На лице Сеньки выступает испарина. Боксировать он немного может. Нагляделся в морском спортклубе. Тут главное — не зевай. Он первый посылает кулак вперед, но мимо.

Зато Генри наносит удар без промаха.

Дрюс, прыгающий вокруг мальчиков, крикает от удовольствия. Но моряки не разделяют его восторга. Они неодобрительно поглядывают на боцмана.

Схватка становится ожесточенной.

Генри сбивает с ног Сеньку, но тот сейчас же поднимается.

— Выпить мне кружку морской воды, если Генри не одолеет русского! — кричит Дрюс.

При этих словах моряки «Сабины», как-то странно усмехнувшись, глядят на юнгу, глядят в упор, и в их взглядах можно прочесть: «Ну-ка, малыш Генри, позабавь нас, морских парней!..»

Генри понимает, чего хотят от него матросы. Хотят, чтобы Дрюс напился морской воды. Но, может быть, он ошибся? К холую не обращаются с такой просьбой. Значит, он не холуй. Значит, команда не позволит боцману Дрюсу издеваться дальше над юнгой... Они смелые люди. С боцманом Дрюсом все может случиться в море...

Лицо мальчика светлеет от радости.

А бокс продолжается. Сенька не так ловок, как Генри, но он сильнее и держится уверенней. Похоже, что силы мальчиков равны. Но что с Генри случилось?

Его руки слабеют, голова бессильно откидывается назад, а ноги расходятся, как по мокрому льду.

— Держись, держись! — злобно орет на него Дрюс.

Сеньке становится жалко маленького англичанина. Мальчишка совсем выдохся. Ладно, надо сыграть в поддавки...

Но Генри вдруг сам шепчет Сеньке:

— Я тебе поддамся, слышишь, поддамся... — и тут же с грохотом падает на люковины трюма.

Сенька не сразу понимает, что произошло, а поняв, делает вид, что победа над Генри далась ему нелегко.

В это время Дрюс ведет счет. Один... Два... Три... Сейчас Генри поднимется. Но юнга лежит. Дрюс еще больше свирепеет. Хорошо бы пнуть Генри изо всех сил ногой, тогда поднялся бы, негодяй! Но судья обязан вести счет. Семь... Восемь... Девять...

Генри не шевелится.

Дрюс глухо объявляет имя победителя. Но это еще не все.

— Поднять наверх ведро заборной воды! — раздаются громкие голоса моряков.

Миг, и ведро на палубе. Находится и кружка. Дрюс должен пить. Это неумолимо, как сама судьба. И он пьет и, выпив, идет на корму, сопровождаемый насмешливыми возгласами команды.

На корме Дрюс тупо глядит на дверь галюна: кто знает, не подействует ли морская вода, как слабительное?..

А Генри протягивает Сеньке руку и тихо, виновато говорит:

— Не сердись... Забудь... Давай лучше выкурим трубку...

У Сеньки доброе сердце.

— Что ж, ладно, английский бой.

В небе, над кораблями, уже появляются сиреневые облака, предвестники вечера. Но в гавани еще полно солнца. Оно золотит стрелы порталных кранов, борты кораблей, морскую даль, а мальчишки, поднявшись на спардек «Сабины», курят трубку, кашляют и смеются.



КОНЬКИ

Они звенят, как серебряные. Их принесла тетя Галина Николаевна в подарок Анатолию. Она здесь редкий гость. Мать Анатолия не любит ее. Считает легкомысленной, беспечной, не бережливой.

Мальчик доволен коньками. У него большой лоб, с горбинкой нос, красивые серые глаза. Но, пожалуй,

им чего-то не хватает, может быть, простой мальчишеской живинки.

— А где же родные? — спрашивает тетя.

— Ушли мебель присматривать.

— Так, а как ты живешь?

Анатолий рассказывает с каким-то горделивым оттенком в голосе:

— В нашем шестом классе меня все боятся!

Тетя удивлена и не скрывает своего удивления.

— Отчего же тебя все боятся, Анатолий?

— Оттого, что я их всех обвиняю...

— Обвиняешь? А кто дал тебе такое право — обвинять? — морщась, как от зубной боли, спрашивает Галина Николаевна. — И кого ты, скажи на милость, обвиняешь?

— Ну, лодырей... На школьных собраниях.

— Ах, вот в чем дело...

Галина Николаевна задумывается. Задумчивость ей очень к лицу. Она даже как-то вся молодеет. Худая, смуглая, крепконогая, она по виду настоящая крыжановская рыбацка. А на самом деле Галина Николаевна фармацевт в центральной аптеке.

На своего племянника она глядит с грустью.

Тот самодовольно продолжает:

— Говорят, что у меня и голос прокурорский.

— А как относится к этому моя сестра, ну, твоя мать, Анатолий?

— Вы это о чем, тетя Галина?

— О том, что у тебя голос про-ку-рорский?

— Ничего.

— Ничего? — Тетя поднимает голову. — Мне кажется, что среди детей не много лодырей. Разве грех гонять голубей, удить бычков и лежать на солнце?

Анатолий с обидным превосходством глядит на свою тетку — защитницу голубей — и заявляет:

— Надо быть всегда на виду! Надо заранее при-
смотреть свое место в жизни...

По всему видно, что он повторяет чьи-то чужие слова. Нелепые. Отвратительные. «Быть на виду»... «Присмотреть»... Откуда у него все это? Может быть, Анатолий не виноват? Но тем не менее Галине Николаевне хочется отхлестать племянника. Она с трудом сдерживается. А мальчик сидит за столом и самодовольно сопит. Он уверен, что выставил себя перед теткой в самом лучшем свете.

Галина Николаевна молчит. Лицо у нее бледное, гневное.

— Ну, а что ты думаешь о Ваське Черевичном из вашего класса? — вдруг спрашивает она.

— О Ваське? — Анатолий презрительно выставляет вперед нижнюю губу. — Лодырь известный. Главное у него в жизни — почтовые марки. Я три раза выступал против него; громил, живого места не оставил... На одних тройках тянется...

— Мда... А знаешь ли ты, где теперь Васька?

— В больнице.

— И ты, конечно, ни разу не навестил товарища? Нет? Зато разносил целых три раза!

Тетя Галина Николаевна встает, надевает пальто и забирает коньки. Резко захлопнув за собой дверь, она выходит на улицу. Коньки она отдает первому встречному мальчишке.

А на улице кружатся редкие легкие снежинки, веселые, как солнечные зайчики. Неожиданно Галина Николаевна останавливается. Нет, она не может оставить так Анатолия. Сейчас она вернется к нему, вытащит из дома и поведет под этими самыми снежинками в больницу, к Ваське. А коньки? Пожалуй, они уже не нужны. Скоро весна!



БЕГЛЯНКА

I

Было три часа ночи, когда к воротам хирургической клиники подкатил автомобиль.

Оттуда вышел милиционер с девочкой.

— Не хочу в больницу, не хочу! Дядя, отпустите! — сказала она.

Не ответив, милиционер поднял ее на руки и понес в приемный покой.

— Нашли в степи, за Королевкой! Да вот, еще имя свое скрывает степная фея! — кратко сообщил он дежурной медсестре и заторопился к машине.

Документов при ней не оказалось.

Заметив за плечами девочки небольшую парусиновую сумку, медсестра велела раскрыть ее.

Там лежали два огурца, кусок хлеба и бутылка с водой.

Дежурная рассердилась:

— Видать, хорошая птица, если не хочешь назваться.

— Не хочу! — угрюмо произнесла девочка и вдруг, схватившись руками за живот, со стоном опустилась на кафельный пол приемного покоя.

Не прошло и часа, как девочка, у которой оказался гнойный аппендицит, лежала на операционном столе.

Оперировал ее хирург Геннадий Васильевич Румянцев, один из лучших врачей городской клиники.

Больная ни разу не вскрикнула. Она видела перед собой медсестер в белых марлевых масках, слышала звон хирургических инструментов и чувствовала резкий запах йода. Потом все закружилось вокруг нее: и стены, и лампа, и потолок.

Когда ее принесли в палату, небо над горизонтом уже светлело. Густой солнечный свет лился на крышизданий.

По одну сторону Улькиной койки лежала высокая блондинка, учительница английского языка, по другую — судовой механик, рябая застенчивая девушка.

— Видишь, в какую ты интересную компанию попала, — сказала пожилая палатная медсестра.

Всем казалось, что жизнь девочки вот-вот оборвется. Дежурный врач, сменивший Геннадия Васильевича, велел перенести больную в другое помещение.

Это была отдельная комнатка, рядом с кабинетом дежурных врачей. Здесь, к рассвету, девочке стало немного лучше. Она увидела медсестру, сидевшую возле нее на табурете, и попросила напиться. Теперь она лежала спокойно, распластавшись на спине, почти вровень с бортами больничной койки. Так она пролежала до самого утра.

Утром пришел Геннадий Васильевич и первым делом осмотрел ее.

— Все проходит нормально. Но кто же ты такая?

— Девочка.

— Чья девочка?

— Ничья... И лежать у вас я не собираюсь. Убегу...

— Сначала мы тебя вылечим, а потом беги. Хочешь — на север, а хочешь — на юг, — пошутил Геннадий Васильевич.

— На юг, — сказала девочка. — Вот только в последний раз погляжу на свою Николаевку... Пойду береговой дорожкой.

— На юг так на юг, а главное — поправляйся!

В полдень пришла учительница английского языка, принесла апельсин, но девочка притворилась спящей. А когда ее снова навестил Геннадий Васильевич, она чуть приподнялась на койке.

— Дядя доктор, это вы разрежали мне живот?

— Я, — обрадовавшись, что девочка проявляет какой-то интерес, признался Геннадий Васильевич. — Говори, говори, я слушаю.

— Зря вы трудились.

— Как зря? Ведь тогда бы ты умерла.

— А я все равно не живая. — Девочка слабо пошевелила рукой и чему-то невесело усмехнулась.

— Да что с тобой?

— Не хочу... Не буду жить... Не хочу...

— Молчи, глупая! — Доктор сердито прикрыл ее рот ладонью. Он понял, что с девочкой что-то случилось. Но об этом он не стал расспрашивать. Он только сказал: — Тебе надо расти, учиться, видеть... А на земле есть на что поглядеть. Леса, моря, океаны...

— Все видела... Вот только на океане не была. Какой он, океан? — Девочка заметно оживилась, но тут же снова ушла в себя; хмурая, одинокая.

II

На пятый день больная впервые встала на ноги. Согнувшись, прошла по комнате, и, когда к ней явился Геннадий Васильевич, она осторожно присела на край койки, кивнула головой и вдруг призналась:

— Дядя доктор, а зовут меня Улькой.

— Улька? Что же, славное имя!

— И мне нравится. Только нет мне счастья...

— Что же так, Улька?

— Из-за своего батьки.

— Откуда же ты сама? — спросил доктор и присел на койку рядом с девочкой.

Едва заметный румянец выступил на лице Ульки.

— Из Николаевки, что на Серебряном лимане, — ответила она. — Я там в школе училась. Была в шестом первой ученицей. Меня все любили. Я в отряде своем была горнисткой. Жила я, как та звездочка ленинская... А весной батьку моего арестовали. Заведовал он лабазом. Деньги нашли у него большие... Бандюга проклятуший! И тогда я все бросила...

Пошла по берегу Серебряного лимана. По степным дорогам...

Геннадий Васильевич опустил голову. Перед ним возникла дорога, ведущая вдоль Серебряного лимана.

...По дороге идет девочка. Это она, Улька. Солнце щедро потратилось на нее, будто отдало все, что само имело, — так золотисты ее волосы, так плотен загар девичьего лица. День пыльный. Все томится жарой. Лишь одни кавуны на колхозных бахчах радуются зною. Но Улька идет не останавливаясь.

«Остановись, отдохни под моими ветвями!» — манит девочку придорожный тополь.

Улька бредет дальше.

«Выкупайся в моих водах, девочка!» — зовет Ульку Серебряный лиман.

Но Улька все идет, и в глазах у нее тоска, губы сжаты, отчего по углам рта образовались горькие морщинки.

А прилиманной степной дороге нет ни конца, ни края...

— Продолжай, я слушаю, — сказал Геннадий Васильевич.

— Ну вот, так иду, иду, и ночью и днем. Кто мне хлеба даст. Кто овощ. Не просила. Сами давали. Иду... А галки летают надо мной и кричат: «Батька твой — вор-вор! А ты дочка воровская!»

В словах девочки горький, полынный настой придорожных полыней. Какая-то монотонная степная напевность. По-видимому, немало времени провела Улька одна на дороге.

— А как же школа? Пионерская организация?

— Считают воровской дочкой... Я же в лисьей шубке ходила, а другие девчонки — в простых ватных стеганках. Выходит, что я с батькой в доле бы-

ла... Я ту лисью шубку сожгла. — Улька вздохнула и вытерла глаза краем больничной простыни.

— А жить все же ты должна. Не ты, а твой отец виноват, Ульяна!

— Не хочу. Не могу. Лучше мне помереть. Потому что батьку еще любила... Думала, что он самый лучший на свете.

— А мать у тебя есть?

— Нет. Мачеха была.

— Видно, несправедливая?

— И ни капельки. Добрая. И она, как узнала, что батька вор, подалась в Среднюю Азию, к родным, меня взять хотела. Только я отказалась...

Улькин голос сделался слабым, перешел на шепот, и Геннадий Васильевич улыбнулся:

— Успокойся, лежи. Спи. Утро вечера мудренее.

— Нет, я лучше скажу все сразу... Все...

— Успокойся.

День угасал. Темнели сиреневые облака. Над городом опустился вечер. Но Геннадий Васильевич не заметил прихода вечера. Он думал о девочке.

— Все скажу, — повторила она. — Плонул мне батька в самую душу.

Улька умолкла, легла на койку и накрылась простыней. Геннадий Васильевич долго стоял над девочкой, не зная, как утешить ее.

В коридоре прозвучал звонок, зовущий больных на ужин. С кухни потянуло запахом теплого молока.

— Поешь, — сказал Геннадий Васильевич.

— Лучше не трогайте меня, дядя доктор, уходите, — откинув с лица простыню, с такой душевной тоской произнесла Улька, что Геннадий Васильевич оставил ее.

III

Улька поправлялась. Но по-прежнему была молчаливой. Одиноко сидела возле окна. Или, забившись в угол коридора, сидела на скамье. О чем-то думала. К чему-то прислушивалась.

Лишь одного Геннадия Васильевича признавала Улька. Тот, в свою очередь, привязался к девочке. «Что она будет делать после выздоровления? — думал он. — Лучше всего, если она вернется домой. Там Улькина школа. Там Улькины друзья. Там Серебряный лиман...»

Порой Улька приходила к нему в кабинет, садилась к столу и молча наблюдала, как он просматривает истории болезней. Он не спрашивал, зачем она пришла.

Однажды он даже показал ей операционную. В стальных хирургических инструментах отражалось солнце. По стенам операционной бегали солнечные зайчики.

— Зачем этого так много? — глядя на инструменты, спросила Улька.

— Все нужно, чтобы сражаться с одной старухой. Улька поняла и сказала:

— Пришла бы эта старуха ко мне, я бы поладила с ней.

— Снова за свое?.. — Доктор нахмурился. — Вот что, пора тебе возвращаться в школу.

— Знала, что об этом заговорите, — ответила Улька.

— Хорошо, что знала, а то вырастешь, как бурьян в канаве. Об этом еще поговорим, а сейчас дела...

Дел было много: осмотр больных, операция и вылет на вертолете в открытое море на судно, где недавно произошла авария.

Домой в этот день Геннадий Васильевич вернулся поздно, примерно часа в четыре утра. Не успел он подойти к столу, где ждал его кофе в термосе, как неожиданно раздался телефонный звонок. Звонила дежурная медсестра:

— Улька ваша удрала, в тапочках и больничном халате...

— Слышу, — глухо ответил Геннадий Васильевич и положил трубку. Задумавшись, он поглядел в окно. Город еще спал. Но звезды уже бледнели.

IV

Когда рассвело, Улька была далеко за городом. Шла к югу берегом моря. Ей хотелось спать. Глаза слипались. Дойдя до рыбацкого поселка Лунное, она устало опустилась на песок у самой воды.

В это время Геннадий Васильевич сидел в автобусе и глядел в окно. Мимо него проносились поселки степного побережья. Петровка, Теплые ключи. Где-то здесь, по расчетам Геннадия Васильевича, должна находиться Улька.

Он вышел из автобуса. Отсюда на Николаевку вели две дороги: одна — берегом моря, другая — полями, огородами, виноградниками и степью.

Геннадий Васильевич направился к морю.

Утро выдалось прохладное. Но день обещал быть теплым, об этом говорили серо-жемчужная дымка вдали и маленькие медузки, что стремились убраться подальше от берега. В море играло и переливалось солнце.

Солнце разбудило Ульку.

Она поднялась и сразу же увидела доктора. Он сидел на песке, скрестив по-турецки ноги, и сурово

глядел на нее. Вид у доктора был усталый. Ульке стало стыдно, что она доставила ему столько хлопот.

Она не сопротивлялась, когда доктор повел ее за собой в поселок и заставил позавтракать в чайной. Затем он сказал:

— Сейчас, Улька, мы отправимся на автобусе в Николаевку, будь умницей...

— Там никогда не останусь... Батяка мой вор, а я дочка воровская...

Улька поднялась из-за стола и стремительно вышла из чайной. Она побежала к берегу через кукурузное поле. Ее голова то исчезала, то вновь появлялась среди густых зарослей.

Геннадий Васильевич последовал за беглянкой.

Кукурузное поле кончилось. За ним был овраг, а дальше — море. Улька бесстрашно скатилась на дно оврага; миг — и она очутилась внизу, на песчаной косе.

— А халат и тапочки я пришлю! — принес ветер оттуда слова девочки.

Она скрылась за рыхлой коричневой скалой.

В овраг Геннадий Васильевич не стал спускаться, а пошел в обход, по удобной тропинке. Он был спокоен. Он знал, что Улька теперь не свернет ни влево, ни вправо. С одной стороны было море. С другой — тянулся скалистый берег. Так до самого Серебряного лимана.

Иногда Улька оборачивалась и глядела, как доктор не спеша идет вслед за ней. Нет, в Николаевку она все равно не вернется. Вот только взглянет на нее и пойдет дальше, все дальше, туда, куда летят облака.

Ветер усилился, и море стало шуметь и сверкать золотыми блестками. Улька шла. Что-то беспрдельно грустное было во всей ее фигурке, обезображенной

серым халатом. Лишь волосы ее, казалось, жили отдельно. Развеваемые ветром, они были живые, рыжие и веселые.

Доктор догнал девочку.

— Ладно, иди куда хочешь, Улька, — сказал он, побежденный ее упрямством. — Давай посидим, поговорим на прощанье.

Они присели на береговой камень. Улька призналась с тоской:

— Дядя доктор, а я еще комсомолкой думала стать...

Геннадий Васильевич с доброй улыбкой положил руку на плечо девочки:

— И станешь!

— Нет, не стану, позор на мне... Батька...

— Нет на тебе никакого позора, Улька!

— А что же, дядя доктор?

— Горе у тебя, вот что.

— Да, еще и горе. — Улька задумалась.

Геннадий Васильевич поглядел на море:

— Улька, — сказал он, — не хочешь возвращаться в Николаевку, приходи жить ко мне. Один я... У меня тоже была дочка... Радистка...

Улька благодарно кивнула головой.

— Нет, буду вам в тягость, потому что сама себя ненавижу. А за все спасибо, прощайте...

Геннадий Васильевич остался один на берегу. Он поглядел на свои руки хирурга с длинными сильными пальцами, перед которыми не раз отступала смерть, и неодобрительно усмехнулся. Ульку-то они не могли удержать. Пожалуй, с ней надо снова поговорить. Но времени уже не было. Его ждали в операционной.

А девочка шла берегом моря, по влажному теплому песку, шагала мимо высоких скал, пока не дошла

до Серебряного лимана. Между ним и морем лежала узкая полоса земли, поросшая солончаковой травой. Отсюда была видна Николаевка.

Улька долго глядела на белые домики, окруженные садами, на пруд, отливающий черным лаком, и на старинную башню: на ней девчата играли в дозорных запорожцев — глядели, не мелькнет ли где в камышах турецкая вражья феска...

Все это властно позвало Ульку. Что же, она лишь взглянет на свой опустевший дом и пойдет дальше, за летящими на юг облаками.

Вечерело. Шумели травы. Робко, одна за другой, зажглись звезды и незаметно до самых краев наполнили небо.

К ограде своего дома Улька подошла никем не замеченная. Подошла и удивилась. На ее воротах висела какая-то странная фанерная табличка.

«Что это?» — подумала Улька и подошла ближе.

На фанерке, побелевшей от жарких ветров, было написано:

УЛЬЯНА, ЗНАЙ: МЫ ТЕБЯ ПО-ПРЕЖНЕМУ ЛЮБИМ, ЖДЕМ.
ЕСЛИ ПРИДЕШЬ, ОСТАНЬСЯ!

От радости Улька заплакала. Нет, она теперь не пойдет за летящими на юг облаками. Сейчас она войдет в дом, зажжет свет и первым делом напишет доктору письмо...

А фанерка на воротах ее дома серебрилась в свете месяца, как крыло чайки.



ПЕРВЫЕ ВИШНИ

Дворник Тунцов — один из самых лучших дворников на Смоляной улице, а вот Фильке он совсем не нравится. Нет во дворе веселой, мальчишеской жизни. Одни цветы на клумбах — красные, сиреневые и желтые. Ни в чиха сыграть, ни запустить с крыши воздушного змея...

Вздыхая, Филька заворачивает свой завтрак — два крутых яйца, хлеб и конверт со щепоткой соли — в оранжевые плавки.

Часы отбивают восемь часов утра. Скорей на улицу! Там, возле трамвайной остановки, собирается бригада искателей древнего поселения на берегу Куяльницкого лимана. Надо спешить. Но во дворе Филька останавливается, не в силах двигаться дальше. На вишневом дереве поспели вишни. Первые вишни. Хорошо бы взобраться сейчас на вторую ветвь... Это желание, острое, дерзкое и чарующее, с такой силой охватывает Фильку, что он даже открывает рот и забывает обо всем на свете.

Он так и стоит с открытым ртом, маленький одесит, школьник и пионер, смуглый, как юнга с океанского парусника. А какие-то молоточки, звонкие и легкие, чеканят в его голове слова: «Первые вишни... Первые вишни...»

Он глядит на вишни и не может на них наглядеться. Рубиновые, с влажным сочным сиянием кожуры, они манят Фильку, зовут к себе... Настоящие волшебные вишни! Да и само дерево не простое. Оно из Генуи. Его привез сын Тунцова, моряк Николай. Тогда эта вишня была совсем маленькой. А теперь генуэзка приветливо шумит листвой. Небо Одессы, такое же теплое и высокое, как и небо Генуи, удочерило ее.

Ноги Фильки отрываются от земли. Шаг, второй, третий, и вот он стоит перед вишней. Он глядит на чудесные плоды, и перед ним возникает радужная картина...

Бригада искателей древнего поселения — Венька Корнев, Севка Луценко и Нора Волынская — лежат на берегу лимана, утомленные археологическими поисками. Вот в такой-то момент он, Филька, и вытащит

из кармана горсть вишен... Филька даже видит коричневое восхищенное лицо Норы, с глазами, голубыми как даль лимана. А Севка, карманы которого набиты всякой всячиной, впрочем как и у всех мальчишек нашей планеты, даже взвизгнет от радости. Он сласлена...

В это время дворник Тунцов сидит в своей дворничкой и держит в руках толстую книгу. Но читать он не может. Разучился. Это случилось после ранения, на границе. И все же книги — страсть Тунцова, особенно о войне. Обычно их читала для него вслух племянница. А племянницы уже нет, вышла недавно замуж. И душа дворника томится. Он задумывается, отчего его доброе скуластое лицо становится почему-то совсем бездумным. Неожиданно он поднимает голову и видит из окна Фильку Конева на вишне...

Спустя минуту огромные руки Тунцова снимают Фильку с генуэзки, снимают легко и осторожно, словно бабочку с распутившегося цветка.

— Так, — произносит дворник.

Филька молчит.

— Так, — снова говорит дворник.

Филька по-прежнему молчит. Он думает: «Еще хорошо, что никто не видел этой печальной истории». Но Филька ошибается. Все видела Верка, по прозвищу Космонавт Вареный Нос, его родная младшая сестра. Она сидит на балконе и давится от смеха. Теперь об этом узнают все во дворе. Насмешек не оберешься. Фильке кажется, что над ним уже даже потешаются воробыи.

«Поживился? Поживился?» — злорадствует воробьиное племя.

Да и сами вишни, не будь дурочками, кажется, смеются над мальчишкой:

«Сорвал, сорвал, сорвал, а?..»

Над домом плывут ленивые облачка. Городское утро звенит, как тамбурин, а дальше, над морем, степью и всеми лиманами, ближними и дальними, поет голосами скрипок, и ветер приносит их голоса сюда, в дом, стоящий на Смоляной улице.

Филька ничего не слышит. В его ушах лишь гудит голос дворника:

— Иди, Филька, за мной!

Они заходят в дворницкую.

— Нет, не стану я крутить твои уши, — говорит там дворник, — на что они мне? Такие — пучок копейка...

Филька оскорбляется. Пучок копейка? Неправда. Уши у него хорошие, большие, мама говорит, что они музыкальные... А Тунцов продолжает:

— Ну-ка, выгружай груз из трюма.

И Филька выгружает. Он кладет вишни, еще нагретые солнцем утра, на стол.

— Внимание, суд идет! — говорит Тунцов. — Филипп Конев присуждается к штрафу — он должен прочитать Тунцову Александру Федоровичу сто страниц этой книги...

С этими словами дворник усаживает Фильку на табурет и сует ему в руки книгу:

— Начинай, вот отсюда...

Делать нечего. Надо читать. И Филька читает «Записки английского офицера разведки Мориссона»...

Лицо Тунцова само внимание. Но Филька не находит ничего интересного в этой книге.

А день между тем все хорошеет и хорошеет. Синее небо зовет Фильку на берег Куяльницкого лимана. Смоляная улица и вправду пахнет смолой. Но смолой особой, корабельной. На улице светло, жарко. На стене дворницкой золотятся солнечные зайчики,

и дворник, ослепленный их блеском, закрывает глаза.

«Спит...» — решает Филька. Сейчас можно выскочить во двор через окно... Веселая озорная песенка без слов начинает звучать в Филькином сердце. Филька поднимается и тянется к окну, как колосок к утренней заре. Но тут раздается голос дворника:

— Читай!

Жалобно шелестит перевернутая страница.

Филька читает, а сам думает о своих друзьях, искателях древнего поселения. Может быть, в этот самый час они без него уже сделали важное археологическое открытие? На Филькиных губах выступает горечь. Он читает, скука одолевает его, и ломит кости, словно осенняя сырость. Он читает, а перед ним лиман, лиман, лиман... Он читает, а перед ним солнце, солнце, солнце... Перед ним золотой мир школьного лета. Мир соленых, зеленых волн. Мир гулкового мальчишеского счастья...

Филькин голос срывается. Все туманней становятся для него страницы. Он с ненавистью глядит на своего мучителя. Ему он желает самого плохого... Заболеть лихорадкой, вывихнуть ногу и даже отравиться консервами, как отравилась в прошлом году его сестра Верка...

— Интересно, верно? — вдруг спрашивает дворник.

— И нисколько! — хмуро произносит Филька. — Вот другие книги — да... О путешествиях... — Он зло глядит на дворника и добавляет: — А я даже за ведро сорванных вишен не заставлял бы мальчиков читать про тайные пружины...

Лицо дворника бледнеет.

— Мал ты еще, Филька, чистый мышонок... —

говорит он тихо. — Все надо знать о войне... Видеть ее корень... Чтобы растоптать навечно.

— И тайные пружины?..

— Да вот они, на мне расписались... На границе...

Дворник Тунцов стягивает с себя рубаху. Все его тело изуродовано страшными багрово-синими рубцами.

— Видал? — надевая рубаху, обращается он к Фильке.

Фильке становится стыдно. Он краснеет, как горсть вишен, над которыми кружится залетевшая в комнату пчела. Он уже не желает, чтобы дворник отравился консервами.

— Дядя Тунцов, — говорит он просительно, — едем купаться на Куяльник, мы там ищем древнее поселение...

Дворник глядит на Фильку и впервые улыбается:

— Мне цветы надо поливать. Нет, отправляйся сам... А дочитаешь завтра. И вишни заberi... Сколько вас там на лимане?

— Со мной четыре...

— Надо нарвать еще. Компания большая.

Филька поражен такой щедростью. Он не верит своим ушам. Но Тунцов берет его за руку и ведет к вишне, своей стройной, ярко-зеленой гелуэзе.



ЭММА

«Скажи, великий, зачем она приехала сюда, в Африку, из страны вечного льда?» — Марокканка Фатима с жалостью поглядела на Эмму, девочку с красным галстуком, которая неподвижно сидела на террасе.

Эмма тяжело дышала, была вся в поту, ее светлые

длинные волосы взмокли и блестели, как лакированные. Но надо держаться. Надо привыкнуть к этому раскаленному, до боли чужому небу, небу Африки.

Марокканка вздохнула и сказала:

— Твоя судьба удивительна. Она от аллаха... Он мудр, великий...

Эмма не ответила. Было бесполезно спорить об аллахе с темнолицей женщиной.

Но судьба девочки и вправду была необычайной.

...Она родилась в Арктике на борту французского транспорта «Солей». Ее мать, судовая буфетчица Луиза Маршан, через день после родов тяжело заболела, спасти роженицу не удалось, и покойную, по морскому обычаю, отдали морю.

Но что делать с девочкой? Ведь крикунье нужен особый уход, заботливые руки, а здесь, на «Солей», все пропитано смрадом промыслового груза, в жилых помещениях душно, как в погребе, и пища — одни консервы. Судно на целых два лишних месяца задержалось в полярных водах, неизвестно, когда оно теперь вернется домой, и «Солей», ради спасения человеческой жизни, пришлось отклониться от курса и направиться в ближайший порт Арктики. Это был полярный поселок Северное Сияние. Там моряки-французы обратились к нашим полярникам с просьбой помочь девочке.

Ждать долго не пришлось. На «Солей» поднялись супруги Сайкины, охотники с зимовки Бакланье.

— Ну-ка, покажите вашу мадемуазель, — сказала женщина в кожаной куртке. На добром рябом лице полярницы светилась улыбка.

Лицо мужчины было сурово. Но, когда он увидел крохотное красное тельце, завернутое в простыню, он весело рассмеялся.

Моряки, знавшие толк в людях, обрадовались: с

такими их девчонка не пропадет, —и выкатили на палубу бочонок вина.

Были подняты кружки. После этого капитан от лица всего экипажа поблагодарил отзывчивых людей. Он заверил, что девочку у них никто не отберет. Она никому не нужна. Ее отец, моряк, с прошлого года пропал без вести. А старшая сестра новорожденной находится в Касабланке, в сиротском доме...

Французы пожелали счастья гостеприимному берегу, и судно вышло в открытое море.

Шли годы. Над Бакланьим гудели ночные ветры. Пурга трясла дом, кружилась, пела. Может быть, это были песни о далекой Большой земле... Порой они волновали Эмму, куда-то звали. В такие дни в оленьей малице и пыжиковой шапке она подолгу носилась на своих собаках по тундре или сидела дома, возле огня, и вырезала из кости мамонта птиц, собак и тюленей. Ее последняя работа, модель большого волшебного корабля-атомохода «Ленин», была гордостью пионерского клуба Северного Сияния.

А пурга все пела. Казалось, никогда не рассеется снежная мгла. Но приходила весна. Поднималось солнце. Оно сушило и плавило снега, сзывало веселых птиц юга. Гомон птичьих базаров наполнял небо, берег и море.

Весной Эмма наравне со взрослыми отправлялась промыслять тюленей, била нерпу и выходила с рыбаками на моторном кунгасе в море. А летом, с централкой за плечами, она бродила по тундре и, по поручению пионерской организации поселка, охраняла маленьких зверей. Два белых прожорливых волка были на счету девочки.

Павел Сайкин и его жена Елизавета не могли нахвалиться Эммой. В часы досуга они с ней занима-

лись, читали книги и даже раздобыли для нее самоучитель французского языка.

— Твоя мать француженка, и ты должна знать язык матери, — сказала Елизавета.

Девочка научилась говорить по-французски.

Но не думала, не гадала Эмма, что этот язык ей когда-нибудь пригодится.

Это случилось в конце февраля 1960 года. Однажды на зимовку Бакланье пришло письмо. Письмо из Африки.

Оно было от отца Эммы, Поля Маршана, вернувшегося домой после долгих лет скитаний. Он писал о том, что хочет повидаться с дочерью. Он долгие годы ничего не знал о ней. Капитан «Солей» сообщил лишь о смерти жены. Дальше отец писал о том, что он стар, одинок, богат и живет в собственном доме с Симоной, ее сестрой. Письмо заканчивалось следующими словами: «Дорогая Эмма, приезжай к нам в Касабланку. Все, что в нашем доме, — твое».

Письмо тронуло Эмму. Но что скажут Сайкины, ее настоящие родные?

— Да, Эмма, — сказал Павел Сайкин.

Елизавета Сайкина промолчала. Она лишь ласково обняла свою приемную дочь.

Эмма оделась, вышла на порог дома и задумалась.

Была ночь. Выла пурга. А там, далеко на юге, в Касабланке, цветут сады, светит жаркое солнце. Там, в Африке, живут Поль Маршан и девушка Симона... Они ждут ее. Что же, она, Эмма, согласна погостить у них в Касабланке.

Через месяц в Северное Сияние прилетел самолет из Москвы.

Эмма попрощалась со своими родными, собрала упряжку и, прыгнув на нарту, приказала собакам:

— Эй, вы, быстрее!

Она боялась, как бы по дороге не поднялась пурга.

Но ветер молчал. Впереди ни звезд, ни людей, ни света. Лишь снег, океан снега. И это накануне весны. Скоро над Арктикой взойдет солнце, начнется долгий полярный день, и прилетят белые пуночки... С Бакланьим жаль расставаться.

Чтобы скрыть грустные мысли, Эмма чаще, чем это нужно было, прикикивала на собак:

— Эй, Белка, Лунь, Румба, Пуночка!

От Бакланьего до Северного Сияния около тридцати километров, и десять собак старались бежать быстрее.

Они вовремя доставили в поселок свою маленькую хозяйку.

Начальник порта, друг Павла Сайкина, подарил Эмме морскую кожаную сумку. Сумка была особая: с компасом, часами и с отделением для плоской литровой фляги.

К ярко горящим сигнальным кострам лётной площадки пришли друзья Эммы, пионеры Северного Сияния.

— Счастливо, Эмма! — со всех сторон слышались голоса.

— Скорей возвращайся!

— И не растай, как льдинка!

— Нет, не растаю!

Эмма подумала, что люди, покидающие родину, берут с собой горсть земли. Но земли не было. Все лежало под снегом. Тогда она вытащила из сумки флягу и стала заталкивать в нее снег, горсть за горстью.

— Эй, пассажирка, брось там баловаться! — крикнул один из летчиков.

Плотно завинтив флягу, Эмма взбежала на трап и махнула рукой.

Самолет доставил Эмму в Москву. Там, даже не успев осмотреть столицу, она пересела на другой самолет, и во Франции, в городе Шербуре, на третий.

Навстречу плыли серебристые облака. Внизу голубели воды. Порой самолет снижался и пролетал над портами, полными кораблей.

Бискай. Атлантика. Касабланка.

В Касабланке на аэродроме Эмму встретили двое: высокий плечистый старик и девушка с желтыми, широко расставленными глазами. Это был ее отец Поль Маршан и ее сестра Симона.

Старик обнял Эмму:

— Так вот какая ты, моя дочь... Симона, что же ты молчишь?

— Здравствуй, сестра, — хмуро произнесла Симона.

Все трое подошли к черной длинной машине. Симона села за руль, и не прошло четверти часа, как они остановились у ворот дома, обнесенного чугунной оградой. Они вошли в дом, и отец сказал Эмме:

— Здесь все твое.

При этих словах Симона поглядела на свою сестру с открытой неприязнью.

Воздух Касабланки был горяч, влажен, пах нефтью и терпкой пылью. К столу сели на открытой, затененной легким цветным полотном террасе. Фатима подала пряные и жирные блюда.

Эмма сидела рядом с отцом и украдкой к нему приглядывалась. Был он некрасив, худ. Руки его дрожали. Горе грубо расписалось на его лице. По-видимому, слишком дорого он заплатил за свое богатство.

Поль Маршан, в свою очередь, приглядывался к

Эмме. Он видел, что девочка плохо переносит жару, она вся в поту, и сказал:

— Сегодня ты с Симоной отправишься к морю, на дачу. Там, под окнами дачи, протекает холодный ручей. Захватите с собой Фатиму и ее малыша.

— А ты разве останешься в Касабланке? — спросила Симона.

— Да, еще на день-два...

— Тогда разреши машину повести мне, — сказала Симона.

— Это далеко, триста километров.

— Я справлюсь.

— Ладно, но веди по новому шоссе. Старая дорога никуда не годится.

— Да, отец.

— А теперь — отдыхать!

Эмма и Фатима остались на террасе.

Марокканка, убирая со стола, продолжала смотреть на девочку. «Скверно придется ей, — снова подумала она. — Но стоит ли жалеть ее?.. Ведь она приехала из страны, откуда изгнали бога, а люди без бога злы и дерзки душой. Так говорят здесь, в султанской старой мечети... Нет, она, Фатима, не станет ее жалеть».

Убрав со стола, служанка поднялась к себе, в комнату для прислуги. Там ее ждал ребенок в бамбуковой колыбели — Ахмет, или Сын Месяца, как назвала его марокканка.

Жара усиливалась.

Фатима накормила ребенка, легла на диван и закрыла глаза. Ей приснилась река, прохладная и прозрачная. По реке на шхуне с серебряным парусом плывет сильный и красивый юноша... Это ее мальчик, Сын Месяца... На темном, словно отлитом из бронзы, лице женщины была радость.

Спала и Симона. Ей тоже приснился сон. Симоне снилось, будто отец выгнал ее из дома. Проснувшись в холодном поту, она сжала кулаки. Эта девчонка и вправду приехала, чтобы забрать у нее все, все... Она, Симона, останется нищей...

Эмма осталась одна на террасе. Неожиданно с океана потянуло ветром, и дышать стало легче. Она вышла во двор и долго ходила вокруг цветочной клумбы. На ней росли цветы: белые, красные и темно-вишневые. Их запах, то пряный и резкий, то нежный и вкрадчивый, опьянил ее. Ей вдруг захотелось петь, плясать, веселиться... «Здесь все твое», — вспомнились отцовские слова. Что же, пусть эти цветы будут ее. Все остальное не привлекало Эмму. Ни дом отца, ни удивительная мебель, ни дорогая машина. Напрасно отец манит ее своим богатством. Эмма улыбнулась. Ведь она и сама не бедная. У нее есть моторный кунгас, упряжка из десяти собак, а дома драгоценные меха. Могучие ледоколы взламывают для нее льды Арктики. Освобожденная из ледового плена вода полярных морей вскипает, ликует и золотится...

Эмма присела на садовую скамью и незаметно задремала. Ей приснилось Бакланье. Весна Арктики звала ее. А над головой девочки кружились жемчужные бабочки. Деревья протягивали ей свои ветки. «Я возьму вас с собой», — сказала им Эмма. Тяжелый золотой персик упал к ногам Эммы и разбудил ее. Она открыла глаза и увидела перед собой Симону.

— Собирайся, — сказала она и поглядела на младшую сестру с еще большей неприязнью.

Эмма поднялась, взяла свою сумку и села в машину.

Они пронеслись через большой оживленный город.

с площадями, окруженными пальмами. За городом их встретили апельсиновые рощи. А дальше дорога стала пустынной.

— Симона, отец тебе запретил ехать этой дорогой, — покачивая на руках малыша, напомнила Фатима.

— Она короче, — рассмеялась девушка. — К тому же можно гнать вовсю...

Марокканка неодобрительно покачала головой. «Хороша эта Симона... — подумала она. — Пляшет в ночном ресторане американские танцы и курит гашиш... А потом болеет, лежит с утра до вечера на диване и плачет... Все это от безделья. Души богатых людей гнилые... И сам Поль Маршан такой. Он ненавидит Симону. Он хочет сделать девочку с севера своей наследницей. Но это не любовь... Хозяин хочет замолить какие-то свои грехи... Эмма, по всему видно, не останется в Африке».

Вечерело. Ветер Атлантики, дующий с океана, умолк. Проснулся другой ветер, восточный.

— Шерги, — назвала его Фатима. Она поглядела на небо и вдруг испуганно вскрикнула: — Идет пыльная буря!.. Поглядите вправо, туда, где небо будто смазали сажей...

Симона заметно побледнела.

— Ничего, — храбрясь, произнесла она. — Мы доберемся. Я хорошо знаю дорогу.

Через несколько минут на машину обрушился пыльный шквал. Вокруг стало темно, как ночью. Симона включила фары. Но свет даже не лег на дорогу.

Неожиданно раздался грохот, машину подбросило вверх, и, ударившись о землю, она перевернулась. Огромный грузовик, налетевший на нее сзади, пронесся мимо в облаках пыли.

Эмма не поняла, что случилось. Она долго лежала на дороге.

Когда к ней вернулось сознание, она увидела машину отца, охваченную языками пламени. Вокруг машины бегала Симона и, смеясь, размахивала руками.

По-видимому, ум бедняги помутился. Увидев Эмму, она в испуге бросилась в сторону.

Песок ослеплял, вызывал в глазах резкую боль, но Эмма в надежде найти Фатиму с ребенком тщательно обыскивала дорогу, кричала и звала:

— Фатима!

Все было напрасно. Колючий шорох песков заглушал крик девочки.

Постепенно пыльная буря утихла. Наступила тишина.

— Фатима! — снова позвала Эмма.

— Я здесь! — вдруг послышался из темноты голос, и марокканка, прижимая к груди ребенка, подошла к Эмме: — Мы убежали от Симоны... Она свихнулась. Волей аллаха мы все живы.

— Симону надо найти, — заявила Эмма. — Симона, Симона! Эй, Симона!

На этот раз Симона отозвалась. Она подошла к догорающим останкам машины, вся в пыли, в рваном платье. Печальная, виноватая улыбка блуждала по лицу девушки.

Фатима поглядела в ночь, прислушалась и сказала:

— На этой дороге больше никого не будет, она завалена пылью.

— Отчего шофер грузовика не остановился? — спросила Эмма.

— Не хотел отвечать за нашу машину...

— Что же нам делать, Фатима?

— Надо идти к океану. Там рыбаки. Если аллах захочет, мы непременно доберемся, девочка.

Они пошли. Эмма крепко держала Симону за руку, чтобы та снова не убежала. Но вскоре их остановила низина с зыбучими песками. Они долго обходили опасное место.

Было уже часа три ночи, когда перед ними показались дюны. Ребенок уснул на руках матери.

— Здесь снова где-то зыбучие пески, — сказала Фатима. — Нам лучше обождать рассвета.

Все же они не остановились. Они осторожно и медленно шли, зорко приглядываясь к песчаной земле.

Стало светать. Как только над дюнами поднялось солнце, всем захотелось пить. Но воды не было.

Ребенок требовательно кричал, стараясь вырваться из рук матери.

— Я ударилась. У меня не стало молока... — с тоской произнесла Фатима.

Она присела на песок и обнажила правую ногу. Выше колена образовалась большая коричневая опухоль.

— Плохо, — сказала Эмма.

— Аллах нам поможет.

— Аллах, аллах, аллах! — вдруг рассердилась Эмма. — Скажи, где твой аллах?

— О чем ты говоришь, безумная? Молчи! — в ужасе взмолилась Фатима.

Марокканка поднялась. Теперь она с трудом волочила ноги. Но она шла. Ни жалобы. Ни стоны. Зной усиливался. Мальчик захлебывался от крика.

— Сын Месяца, Сын Месяца! — позвала Эмма и погладила малыша. — Фатима, я понесу ребенка...

— Нет! — испугалась Фатима. — Ты нечистая... Ты оскорбила аллаха.

— Пусть так. Симона, помоги Фатиме.

— Нет, нет, не смейте к нему прикасаться!..

Эмма чувствовала, что силы оставляют ее.

— Скоро ли океан? — спросила она.

— Скоро, — хмуро ответила Фатима.

Наконец они вышли к океану. Он был безлюден. Ни одной лодки, ни одного паруса. Эмма и Фатима переглянулись.

— Рыба ушла далеко от берега, а все рыбаки за ней погнались, — глядя вдаль, вздохнула Фатима.

Они укрылись за кормой разбитой лодки, выброшенной на берег прошлым годом штормом.

Перед ними был океан воды. Они попробовали пить ее, но их тут же вырвало. Все же Эмма не могла оторвать глаз от прозрачной воды океана.

Неожиданно она увидела в ней круглую золотоглазую рыбу. Умоляюще протянув к воде руки, Эмма затаила дыхание.

«Океан, подари нам эту рыбу!» — все кричало в Эмме.

Золотоглазая с оранжевыми плавниками глядела на девочку и, казалось, улыбалась.

Рыба! Из нее можно выжать сок и напоить ребенка. Остатки золотоглазой они съедят сами...

— Рыба, послушай, — сказала Эмма. Она ласково посвистела рыбе. Та не шевелилась. Эмма собрала все свои силы и бросилась на нее.

Рыба исчезла.

Девочка вышла на берег и легла в ногах сестры и Фатимы.

Ей вдруг показалось, что их руки благодарно погладили ее мокрые волосы.

Так ли это было или не так, но она почувствовала себя лучше, словно прохладой Арктики дохнуло на нее.

Солнце поднялось выше. Фатима вздохнула и сказала:

— Терпите, аллах нас не оставит... Надо ждать.

— Ждать? Нет, не надо! — глухо, не своим голосом вдруг вскрикнула Эмма. — Там, в сумке, фляга с водой!.. Несколько горстей снега...

Как она могла об этом забыть? Ее вместе с сумкой выбросило из машины.

— Кто-то мутит твою душу, — испугалась Фатима. — Ты не африканка... Ты не вернешься.

— Не ходи, — попросила Симона.

Эмма усмехнулась. Разве она не пионерка Северного Сияния?

Эмма поднялась. Ее зоркие глаза запомнили путь к машине.

Она шла пошатываясь, но не падала. Какая-то странная сила, похожая на музыку, поддерживала ее. Крутые мускулистые волны музыки несли Эмму по скрипучей, жесткой земле.

А солнце было как спирт. Жгло и пьянило.

— Не жги! Ты разве не знаешь, что трое ждут меня на берегу? — сказала Эмма.

И солнце, казалось, сжалилось над девочкой.

Дюны исчезли. Исчезла Африка. Перед Эммой возникла тундра. Белые нежные руки пурги легли на плечо Эммы. Шорох снегов, переходящий в серебряный птичий свист, приветствовал ее.

Эмма остановилась перед обгоревшей, занесенной пылью машиной. Девочке посчастливилось: она нашла свою сумку.

Пальцы принялись лихорадочно отвинчивать пробку фляги. Но Эмма сейчас же гневно прикрикнула на свои пальцы:

— Не смейте!

Она направилась назад, к океану. Музыка снова

несла ее. Нет, не музыка. Она мчалась на своей нарте, весело покрикивая на собак:

— Белка! Лунь! Румба! Пуночка! Эй!..

День клонился к вечеру, когда она появилась на берегу океана. Симона, Фатима и ее мальчик лежали без сознания. Но вода из фляги оживила их. Они открыли глаза и увидели Эмму, неподвижно лежавшую возле них на песке.

Сердце девочки не билось.

Океан шумел. Сын Месяца, который больше всех выпил воды — растаявший снег Арктики, — протягивал океану свои смуглые тонкие руки.

Симона упала рядом с сестрой и принялась целовать ее холодное лицо.

А Фатима обратила свой взор к востоку:

— Аллах, эта девочка была самая лучшая из людей, — сказала марокканка аллаху и, помолчав, добавила: — Она была лучше, чем ты, великий!



СОЛНЦЕ, ФИДЕЛЬ КАСТРО И ЛЁШКА

Лешка —малец лет одиннадцати, синеглазый и большеротый. Нос у него облупленный. А это значит, что погода в Одессе великолепна. И верно, пришла веселая, жаркая весна.

Он сидит возле окна. Из окна видно море, и там, в теплых вечерних сумерках, плывет судно — шхуна с тугими высокими парусами...

Но это только мираж. Никакой шхуны на море нет, и в то же время шхуна существует. Она стоит на подоконнике перед Лешкой. Он мастерит для нее мачту из ручки старинного бабушкиного зонтика. Настоящая слоновая кость. Резец в руках мальчика сверкает, отливая голубой сталью и верещит, как птица.

Лешкин лоб в испарине, но ничто не может оторвать мальчика от модели парусной шхуны: ни шум листвы, властно зовущий на бульвар, ни трехкратный свист за окном. Так вызывают Лешку многочисленные друзья.

А за окном вечер. За окном звезды. За окном море.

— Хватит, Лешка, трудиться, — доносится из соседней комнаты голос матери.

Хватит? Нет, Лешке всегда чего-нибудь не хватает. Особенно времени...

— Лешка! — на этот раз голос матери звучит строже. Она заходит в комнату и недовольно морщит лицо. — Сидишь целую неделю. Гляди, какой ты стал бледный...

— Ладно, я сейчас, — говорит Лешка.

Но как только мать выходит, он занавешивает дверь снятым со стены ковриком и снова берется за резец.

Мать прислушивается. Теперь за дверью тишина.

А Лешка торопится. К утру шхуна должна быть готова. Завтра в гавани от имени класса он вручит кубинской делегации модель кораблика. Шхуна называется «Ласточка».

Наконец мачта сделана. Отполированная до блеска, она водружена в мачтовое гнездо... И тут сон — вор времени — обрушивается на Лешку.

Ему снятся слоны. Они собрались поглядеть на

мачту, сделанную из клыка их родственника... Они довольны работой.

Спит Лешка до самого утра. За это время можно было бы вволю погонять мяч на футбольной площадке, наловить уйму бычков и просмотреть целых три фильма...

Утро яркое, солнечное. Шумят городские акации. Пронесятся над ними светлые облака. В гавани раздается звон судовых склянок.

Город раскрашен флагами дружбы и гостеприимства.

Идут в порт студенты, ремесленники, школьники. Шагает по улицам отряд пионеров, и вместе с ними идет наш Лешка. Он несет подарок кубинцам — шхуну с развернутыми парусами. Рядом с Лешкой идет Лиза Матвеева, чемпионка по плаванию, и держит фанерный овал с портретом вождя кубинской республики.

— Фидель похож на орла, — говорит Лиза.

— Орлы могут глядеть на солнце, — щурясь от солнечного света, как бы про себя произносит Сенька, карапуз с букетом белой сирени.

— Я тоже могу, — вдруг заявляет Лешка.

Запрокинув голову, он глядит прямо на солнце.

Но солнцу, по-видимому, не понравился дерзкий мальчишка.

Лешкина голова закружилась. Множество огоньков, таких же пестрых, как флаги расцвечивания, заплясали перед глазами мальчика.

А корабль с кубинцами входит в гавань.

Колонны встречающих торопятся. Лешкин отряд даже пускается бегом к морю.

Бежит и Лешка, на которого разгневалось солнце. Бежит и, вдруг споткнувшись, падает со своей шхунной на мостовую...

В гавани реки живых цветов.
— Вива Куба! — гремит город.
Звучат в ответ кубинские песни.

А Лешка? Он остался один на опустевшей улице матроса Вакуленчука. Мальчик сидит на обочине мостовой. Он горестно прижимает к груди свою драгоценную шхуну с поврежденной рубкой и сломанной мачтой...

Горькие слезы — они горше стручкового болгарского перца — заливают Лешкино лицо. Похоже, что этим мальчишеским слезам никогда не остановиться...

А город все гремит:
— Вива Куба!

Кубинцы сходят на берег. Идут по улицам города.
— Вива камарадос!

И небо над ними шумит: «Вива!» И синее море рокошет: «Вива!» И деревья, и облака, и сердца людей говорят это лучистое слово.

День ясен, шумлив, весел. Все радуются жаркому дню. Не рад лишь один Лешка.

Он по-прежнему сидит на обочине мостовой, склонив голову над своей шхуной. Лешка всхлипывает и, всхлипывая, изо всех сил зажимает рот ладонью. Но рыдание все же вырывается из груди мальчика.

И солнце словно смеется над Лешкой. Оно еще жарче! Еще выше! Еще золотистей!

Идут по городу бородатые черноглазые кубинцы с лицами бронзовыми, как русская пшеница. Увидев плачущего мальчика на улице матроса Вакуленчука, они останавливаются. Глядят на поврежденную шхуну и догадываются, что здесь произошло.

— Не плачь, не надо. Разве ты не мужчина? — говорят они Лешке.

Но Лешкино горе неумно... Огромно, как океан.

Лешка ничего не видит перед собой. Ничего не слышит.

Бородатые кубинцы улыбаются. Их четверо. Самому старшему бородачу не более тридцати лет. Он поднимает Лешку, и Лешка, смахнув слезы рукавом куртки, удивленно трет глаза. Он поражен в самое сердце. Кубинец, поднявший его с земли, некто иной, как сам Кастро. Сам Фидель... На нем его знаменитый берет. Черные глаза светятся храбростью. Его густая черная борода, как уголь. Он и вправду похож на орла...

— Фидель Кастро! — взволнованно произносит Лешка.

— Фидель! Фидель! — весело говорят кубинцы.

А бородач, которого Лешка принял за Кастро, берет из его рук шхуну и подносит к губам.

Лешкин подарок принят...

Идет Лешка по улице матроса Вакуленчука счастливый.

— Фидель Кастро пожал мне руку! — говорит он знакомым и незнакомым. — Да, да, сам Фидель!

Люди улыбаются. Они глядят на сияющее лицо мальчика. Они знают, что Фиделя Кастро в Одессе нет. Только что сообщило радио о том, что он выступал в Гаване. Но они не хотят разочаровывать мальчика. Люди говорят Лешке:

— Значит, сам Фидель, а? Ну и здорово тебе повезло, парень!

Идет Лешка. Гордо улыбается. Он снова глядит на солнце. И солнце на этот раз ничего не может поделать с мальчишкой.

СОДЕРЖАНИЕ

Барк «Жемчужный»	3
Сероводород и Тюлька	13
Чиро	17
Кот Берендей	22
Белоснежка	26
Стёпик Железный	30
Цыгане	43
«Бандера роха»	53
Храбрая девчонка	63
Бокс	65
Коньки	73
Беглянка	76
Первые вишни	87
Эмма	93
Солнце, Фидель Кастро и Лёшка	107

Для среднего возраста

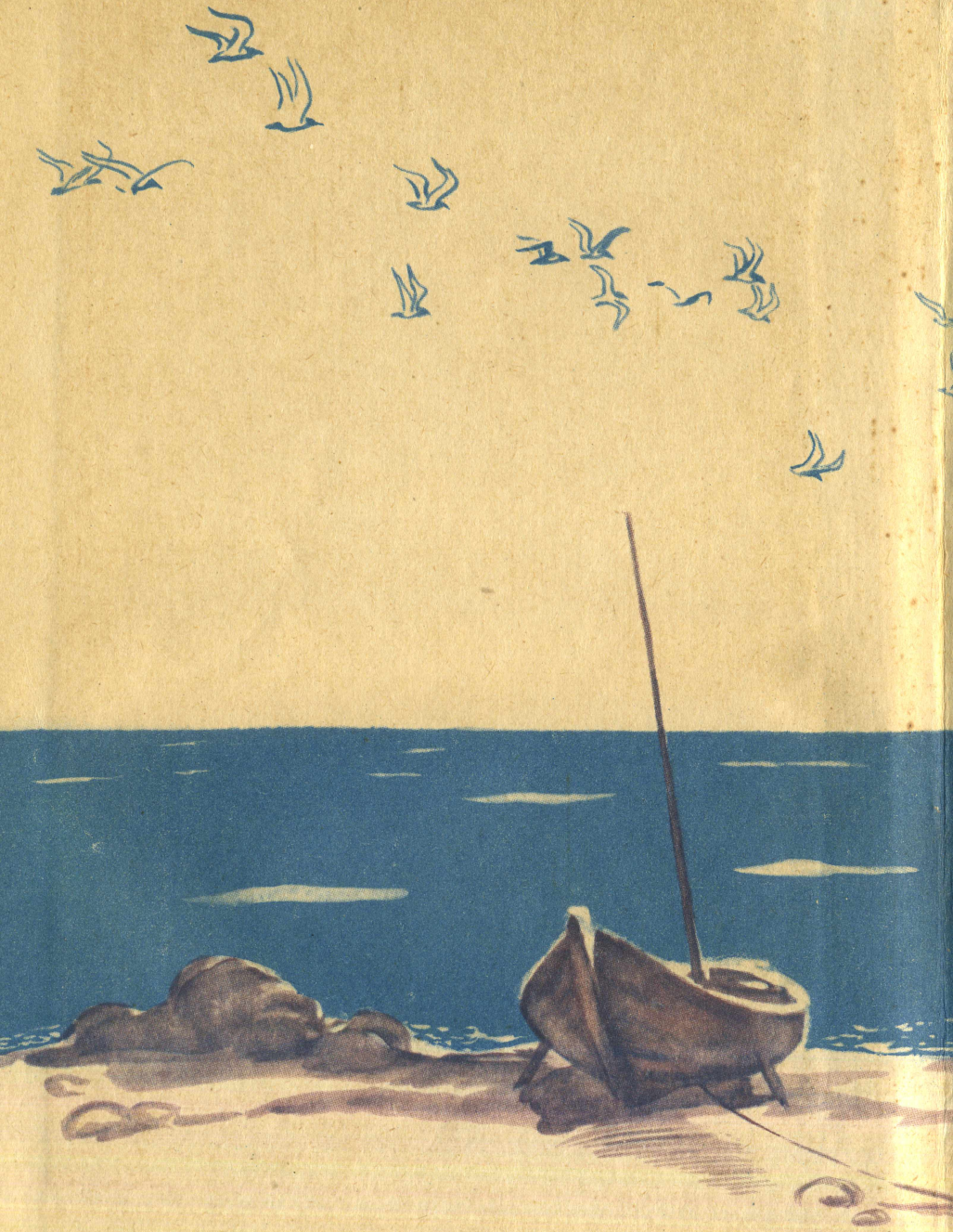
Батров Александр Михайлович

БАРК «ЖЕМЧУЖНЫЙ»

Ответственный редактор *И. В. Пахомова*. Художественный редактор *Н. З. Левинская*.
Технический редактор *М. Я. Басс*. Корректоры *Л. И. Гусева* и *Т. Ф. Юдичева*.
Сдано в набор 22/VII 1963 г. Подписано к печати 12/X 1963 г. Формат 60×84¹/₁₆. —
Печ. л. 7. Усл. печ. л. 6,391. Уч.-изд. л. 4,76. Тираж 90 000 экз. А09668. ТП 1963 № 323.
Цена 24 коп.

Детгиз. Москва, М. Черкасский пер., 1.

Фабрика детской книги Детгиза. Москва, Сушеvский вал, 49. Заказ № 5200.





Цена 24 коп.